

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

2

НОВЫЙ  
МИР

1999

2

1999

# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 2(886)

Февраль, 1999 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Начать сначала, стихи	3
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — В компьютерном окне, стихи	9
МИХАИЛ БУТОВ — Свобода, роман. Окончание	14
АЛЕКСАНДР ШАТАЛОВ — Город и окрестности, стихи	60
ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ — И звезда ни гугу, стихи	63
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть первая (1974 — 1978). Продол- жение	67

### ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ЮРИЙ СИМОНОВ — Либерализм и христианство. Размышления ученого на пороге XXI века	141
---	-----

### МИР НАУКИ

НИКОЛАЙ КУРЕК — Разрушение психотехники. Послесловие Юрия Кублановского	153
--	-----

### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

*А. С. Пушкин. 1799 — 1999*

ИРИНА СУРАТ — «Да приступлю ко смерти смело...». О гибели Пушкина	166
--	-----

### ПОЛЕМИКА

АЛЕНА ЗЛОБИНА — Случай Хармса, или Оптический обман	183
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

*По ходу текста*

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ — Неподражательная странность	192
--	-----

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Ольга Славникова. Деревенская проза ледникового периода	198
Дмитрий Быков. Последняя	207
Глеб Шульпяков. Записки из мертвого замка	212

---

Валерий Липневич. — Светлана Алексиевич. У войны не женское лицо. Последние свидетели; Светлана Алексиевич. Цинковые мальчики. Зачарованные смертью. Чернобыльская молитва	215
Вл. Новиков. — Андрей Немзер. Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е	216

### АНКЕТА

«ВЫРАЖАЕТСЯ СИЛЬНО РОССИЙСКИЙ НАРОД!». Отвечают Людмила Улицкая, Галина Щербакова, Михаил Бутов, Елена Невзглядова, Валентин Непомнящий, Валерий Белякович, Вера Павлова	219
--	-----

### БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	227
Периодика (составитель Андрей Василевский)	230
SUMMARY	240

В конце ноября пришло горькое известие о гибели Андрея Сергеева. Джип сбил его, когда он возвращался вечером из одного литературного собрания. Случилось это в еще бесснежном городе, неожиданно схваченном морозом. В те дни даже асфальт на московских улицах непривычно побелел от холода.

Андрей Сергеев долгие годы пребывал в нише художественного перевода, где стал бесспорным мастером. Его переводы с английского старых и новых англо-американских поэтов признаны знатоками как образцовые.

В последние годы он открылся как самобытный поэт, острый эссеист, интересный прозаик, мемуарист. (В «Новом мире» печатались его поэма, стихи и короткие рассказы.)

Позднее признание, внезапная смерть, человеческое благородство, все расцветающий талант. Мы глубоко опечалены этой потерей.

Редколлегия «Нового мира».

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 4631 экзemplя журнала «Новый мир».

---

---

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

\*

## УГОДИЛО ЗЁРНЫШКО ПРОМЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ

*Очерки изгнания*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

(1974 — 1978)

Глава 4

В ПЯТИ РУЧЬЯХ

**Х**отя уже сорок лет я готовился писать о революции в России, вот в 1976 наступало сорок лет от первого замысла книги, — я только теперь, в Гувере, — в большом объёме, в неожиданной шире — получил, перештупывал, заглатывал материал. Только теперь обильно его узнавал — и, по мере как узнавал, происходил умственный поворот, какого я не ждал.

Помню, профессор Кобозев («Невидимки») часто и настойчиво меня спрашивал: а как вы, всё-таки, точно относитесь к Февральской революции? что вы о ней думаете? Была ли она полезна для России? была ли неизбежна? и неизбежно ли из неё вытекала Октябрьская? — Я всегда отмахивался: во-первых потому, что я ведь шёл к Октябрьской, всё определившей, а что там проходная Февральская? Во-вторых, неизбежность и полезность Февральской общеизвестны. В-третьих: если бы художник мог всё заранее сформулировать — не надо бы и романа писать. А всё откроется само лишь по ходу написания.

И действительно, начало открываться само — и вот только когда! Натуральными обломками предфевральских и февральских дней — мненьями подлинными и мненьями, придуманными для публики, лозунгами, лжами, быстро организовавшейся газетной трескотнёй с её клеймами, несвязанностью столичных событий со страной, ничтожностью, слепотой или обречённой беспомощностью ведущих вождей революции — я был теперь закидан выше головы как хламом, и выбарахтывался из этого хлама с образумлением и отчаянием.

Без нарастающего, громоздящегося живого материала тех лет — разве мог бы я до этого сам додуметь?!

Я был потрясён. Не то чтобы до сих пор я был ревностный приверженец Февральской революции или поклонник идей её, секулярный гуманист, — но всё же сорок лет я тащил на себе всеобщее принятое представление, что в Феврале Россия достигла свободы, желанной поколениями, и вся справедливо ликовала, и нежно колыхала эту свободу, однако, увы, увы — всего восемь месяцев, из-за одних лишь злодеев-большевиков, которые всю свободу потопили в

крови и повернули страну к гибели. А теперь я с ошеломлением и уже омерзением открывал, какой низостью, подлостью, лицемерием, рабским всеединством, подавлением инодумающих были отмечены, иссоставлены первые же, самые «великие» дни этой будто бы светоносной революции, и какими мутными газетными помоями это всё умывалось ежедневно. Неотвратимая потерянная России — зазияла уже в *первые дни марта*. Временное правительство оказалось ещё ничтожнее, чем его изображали большевики. А ещё же, что большевики смазывали: Временное правительство и силы-то не имело ни дня, всё оглядывалось за согласием Исполнительного Комитета — узкого, замкнутого, скрытого за галдящим многотысячным сборищем Совета, — Исполнительного Комитета, ни за что не отвечающего и толкающего всё к разрухе. В те дни не проявилось ни героев, ни великих поступков. С первых же дней всё зашаталось в хляби анархии, и чем дальше — тем раскачистей, тем гибельней, — и образованнейшие люди, до сих пор так непримиримые к произволу, теперь трусливо молчали или лгали. И всё это потом катилось восемь месяцев только вниз, вниз, в разложение и гибель, не состроилось в 1917 даже недели, которую страна могла бы гордиться. Большевикам — нельзя было не прийти: оно всё и катилось в чьи-нибудь этикие руки.

И как же, как же я этого не видел сорок лет? Как же поддался заманчиво розовому облаку февральского тумана? Как же не разглядел, что не в Октябре решалось, а уже в Феврале? А вот — поди разберись: в советской обстановке очень трудно было разглядеть истинный ход и смысл 1917 года, да особенно потому, что нельзя ж было поверить брани большевиков против февралистов: ну конечно же большевики врут...

Если бы в жизни я занят был только писанием своей книги, то это открытие, хоть теперь-то сделанное, за эти два месяца в Гувере, меня бы не обескуражило: так — так так, вот и видно стало, изблизи. И если бы явление нашей Февральской революции никак бы не соотносилось с подобными же западными революциями, течениями и мировоззрениями. Но, пусть тысячекратно худшая, чем на Западе, неудачная, нелепая — а всё же то й она была природы, напоминала и французские 1830 и 1848. И в сегодняшнем СССР если возрождались какие-то свободололюбивые и несоциалистические течения, то и несли то же мировоззрение и имели самые лучшие о Феврале воспоминания — или даже мечты повторить его в будущем. А я все эти годы, в самой резкой схватке с большевицким режимом, и кроме этого ненавистного врага не замечая никого, ничего, — чьим же единодушием был широко поддержан и чьей же волной взнесен, если не этой же, такой же «февральской» публики — и у нас в Союзе, и на Западе? И это — естественно, мы были союзниками, поскольку я «признавал» Февральскую революцию позади — и что-то подобное мерещил впереди.

Но вот теперь я открыл, что этот путь реально был в российском прошлом — мало сказать неблагополучен, — непригляден, он нёс в себе в 1917 анархическое разложение всего российского тела. И что ж — я с такими заодно? (Да оно лезло и раньше изо всех щелей, я просто не осознал, помогла понять — Февральская революция.)

И эти минувшие два года на Западе — то шля поддерживающие или протестующие телеграммы, то речами и интервью гневно разя всё того же, того же советского Дракона, то помогая создать «Континент», сплывавая силы Восточной Европы, — я просто действовал от повышенной политической страсти или катился по той инерции, какая создалась в Союзе? Да находясь в угрожаемой, но оцепеневшей Европе — как же спокойно сидеть, не будить её, не тревожить, не занозить, чтобы очнулась?

Но вот что: в этом опале борьбы против коммунистического режима я, значит, как-то уклонился. Скопился. Как будто так.

И наоборот: в моих последних горьких излияниях о Западе — не прорывалась ли вперёд, сама, интуитивно, — струя того нового понимания, которое я сейчас обретаю над материалами Февраля? Как будто и так.

Но тогда, тогда — до чего же можно договориться? Не мог же я с самого начала не кинуться в жестокую схватку с душащим нас режимом? Получивши голос — не мог я им не воздать за всё, что они с Россией сделали. Как это? После «Ивана Денисовича» — подказёнивать? подлыгать? а самому пока — тихо прижиться к архивам, и открывать пласты истории, и многолетне молча писать? То есть вынырнув из подполья — ещё раз в него уйти? Да уже и не дали бы, виден.

И — с какого это «самого начала»? Моё начало было — не «Иван Денисович», но — сами тюрьмы и лагеря, но — судьба русских военнопленных. Разве с того начала я мог не поднять борьбы? и — не завершить её «Архипелагом»? Это уже была — втяга чувств.

Так значит, *не начинать* — было нельзя. Не накалиться «Архипелагом» — было невозможно. А начавши — нельзя было в отчаянной борьбе не взять в союзники советскую образованщину, затем и западную, — и так незаметно для себя, потом и заметно, уклониться от глубинного пути России? И даже от частного своего интереса — повествователя Революции, растрчивая время и силы.

Вот завязался узел: ни начала другого, ни конца другого — и никакого другого правильного пути. А оказался — на неправильном.

Знать, прошлого уже не распутать и не изменить. Оставалось — над зинувшей мерзостью Февраля — хоть на будущее попытаться исправиться, хоть теперь-то найти путь верный.

А верный путь всегда один: уйти в главную работу. Она и выведет сама. Уйти в работу — это и значит: искать для себя и для читателя: как из нашего прошлого понять наше будущее?

Ах, сколько же, сколько же потерял я сил и времени, нужных для главной работы моей жизни!..

Но и как благоденственно совпало: поворот моего общего понимания произошёл хотя и не в связи, но одновременно с большим жизненным решением о переезде в американскую глушь — свободно обдуманном, не сиюминутно вынужденным, это редко в моей жизни бывало. А этот переезд заодно и ослаблял зависимость от суетливой среды, уменьшал поводы и остроту высказываться, от чего нельзя уйти в тесной Европе. Наговорил сколько мог — было бы хожено да лажено, а там хоть чёрт родись. Теперь переезд в Америку давал мне возможность не действовать, а наблюдать. Уйти в работу — это значит и сократить общественную активность, перестать истрачиваться в непрерывных телеграммах, речах, интервью. Подальше от кузни — меньше копоты. Приучиться ни на какие события не откликаться. (Аля не верила и спорила, что Америка, напротив, словет меня и затреплет по выступлениям.) Да глубь Времени уже не оставляет мне состязаться с современностью. Современность — оставить, пусть течёт, как течёт, я и так уже для неё потрудился более, чем хватит с одной человеческой жизни. Общего хода мне всё равно не изменить, её научат только сами События. А я — мост, перенести память русского прошлого в русское будущее.

Но — но — от окружающего мира так сразу не унырнёшь. Вот и в Гувере, едва я открылся, что — здесь, стал ходить в их Башню, — уже накидывают на меня петли: выступать! Один раз — на гуверском почётном приёме. Ладно, вставляю в речь своё нынешнее: отчего западные исследователи недопонимают Россию, в чём их систематическая ошибка, сдвиг суждений о России (мимоходом привёл как отрицательный пример книгу Ричарда Пайпса о старой России — и надолго приобрёл себе страстного и влиятельного врага); как бессознательно и сознательно искажают русскую историю, не видя в ней значительных следов яркой общественной самостоятельности; и как смешивают понятия «русский» и «советский»\*. — Другой раз — привозят мне вручать много-

---

\* Солженицын Александр. Публицистика. В 3-х томах. Ярославль, Верхне-Волжское изд-во, 1995 — 1997. Т. 1, стр. 298 — 304. (Далее ссылки на это издание даются с указанием тома и страницы. — *Ред.*)

чеканную американскую «Медаль Свободы», — опять требуется речь\*. Тут я, сам для себя ещё полуслепо, нащупываю западные искажения свободы — то, что я инстинктивно почуял в первые дни на Западе и сказал при «Золотом клише» (и что мне неведано предстоит развернуть в Гарвардской речи). Эти два выступления — уже веки на новом моём пути. А слаще бы — совсем не выступать. (В русской эмигрантской колонии в Сан-Франциско справедливая обида: почему я не выступил? Ну, как разорваться? Всегда этот выбор: или работать, или «оказывать внимание».)

Да ведь это же и для меня самого надо: слишком густой напор моей публицистики скоро перестанет и убеждать. Темп и громкость моего движения уже стали непомерны, надо вернуться в естественные размеры. Испытание славой, которым грозили мне и Ахматова, и Твардовский, — уверенно, по ощущению себя, вижу, что прошёл благополучно, — и вот сам, без затруднения, от неё ухожу. Какое освобождение души: чтоб о тебе перестали писать и говорить, перестали на каждом шагу про тебя узнавать — а пожить в обычной человеческой шкуре. Путь звонкий, но неизбежно короткий, сменить на путь беззвучный и глубокий. Это будет одновременно и долголетие, выигрыш по оси времени. И каждый день же заниматься родным языком — счастье писателя. Да русскую историю не только же знать Двадцатого века, по десятилетиям которого гнал меня бич. Да вот уже старики, последние свидетели революции, шлют воспоминания, надо собирать их, читать, спешить отвечать. Да где-то же есть молодые авторы, которых открывать и помочь? — ну они, положим, в России. Так хоть следить за тем, что появляется на родине, — ведь я же правда не политик, а писатель, и друзья мои ближние — не диссиденты, а русские писатели. Да вот уже сыновья у меня растут, от шести лет до трёх, пора для них время найти, как находят все нормальные люди.

Наш переезд в Вермонт, таким образом, обещал стать первым за жизнь мою шагом к образумлению, к умедлению, к простой норме.

Впрочем, ещё раньше, чем я отвернулся от западного общественного внимания, — стало отворачиваться оно от меня. Когда под Новый 1976 год французский журнал «Пуэн», споря с растущим ветром враждебности ко мне, объявил меня «человеком минувшего года», — это был дерзкий вызов, и они так и печатали на обложке, как в две дюжины мазутных кистей уже замазывают, замазывают мне лицо, — я ещё не принял тогда этой картинки всерьёз.

Да сам-то я от первых западных шагов сделал всё, чтобы западная общественность и печатность от меня отвернулись: и проявил себя врагом социализма, и опубликовал «Письмо вождям» («измена демократии!»), и рычал на прессу. Ещё по инерции антикоммунизма не сразу рассыпалась мне поддержка (да — есть ли в западном обществе широкий антикоммунизм, ещё спросить? его и нет) — но и в эти самые месяцы, когда я совершал свой внутренний поворот, — даже рядом, в сонной Канаде, всегда в опоздании, ведущий комментатор телевидения поучал меня, что я берусь судить о мировом опыте с точки зрения опыта *ограниченного* — подсоветского и лагерного. О, конечно. Жизнь и смерть, неволя и голод, выращивание души вопреки пленению тела — как это ограничено по сравнению с ярким миром политической партийности, вчерашнего курса на бирже, необъятной развлекательности и экзотического туризма.

В динамичных Штатах дело пошло резче. Недавний калифорнийский губернатор Рональд Рейган, соперник президента Форда на предстоящее выдвижение от республиканской партии, предлагал мне этой весной, через Гувер же, встречу. Я — отклонил: и по общему своему уходу от политики, и особенно считал нетактичным для иностранца влиять на президентскую избирательную кампанию. Тем не менее летом на съезде республиканской партии рейгановская фракция настояла записать в избирательную программу партии, что

\* «Публицистика», т. 1, стр. 305 — 308.

«Солженицын — великий пример человеческого мужества и нравственности», и партия обязуется «при принятии внешнеполитических решений никогда не упускать из виду его предупреждений». Форд, боясь потерять влияние в партии (уж и так его кляли год, что он меня не принял в Белом доме), уступил и согласился на эти тезисы. Киссинджер рвал и метал. А через два дня его помощник в Госдепартаменте Уинстон Лорд на семинаре молодых дипломатов назвал меня «почти фашистом» и предупредил, что я — угроза миру. Это — выплыло, попало на трибуну сената («Солженицын стал главной мишенью сторонников разрядки — и в Кремле, и на седьмом этаже Госдепартамента»), — но скорей по раскалённости предвыборной кампании, а Лорд кабинетно выразил обо мне то, что станет скоро общим местом для американской прессы. Окружение другого кандидата, Картера, числило меня «слегка ненормальным русским мистиком, какие бывали в XIX веке»\*.

Хотя я собирался, вот, поселиться в этой стране, но нападки такие скользили, не задевая меня: они не могли влиять на суть жизни, которую я теперь начинал. А вот остро воспринял я очередной укус ГБ: оно не забыло меня, как далеко я ни завергся. Моя публикация в «Тайме» в 1974, как они подделывали целую небывшую мою переписку с Ореховым, — оказывается, не отвадила их, — да и не распускать же им превосходно налаженный графологический отдел. Что какая-то «бомба» против меня готовится — до нас доносились, правда, слухи из Москвы раньше. А теперь, числа меня живущим в Швейцарии, КГБ и решило взорвать свою подделку именно в Швейцарии. И вот какой-то швейцарский журналист, Петер Холенштейн, уж не знаю, подставной или нет, пишет мне в Цюрих, что ему доставили документы большого интереса и вот он посылает мне копию одного: прежде чем его опубликовать, он, дескать, по добросовестности журналиста, хотел бы знать о нём моё мнение. (В позднейшей переписке он сообщил мне, будто подбрасывалось целое собрание таких подделок, часть — «через видного функционера ГДР».)

Бумагу Аля переслала мне скорой почтой в Калифорнию. Ну разумеется, все враги собачьими зубами рвут, что я сам о себе открываю. Зудило их, как не использовать такую подсказку: рассказ мой в «Архипелаге», как вербовали меня в стукачи. То б ещё им искать на меня хватку, а я сам подал. И вот состряпали первый письменный «донос», да не по мелочи, а сразу — на подготовку экибастузского мятежа (на движение бури!) в январе 1952. Но как же советской власти самой опубликовать в виде упрёка донос, поданный ей во службу? Самой нельзя. Подсунули этому швейцарскому корреспонденту с таким сюжетом: какой-то будто эмведешник, просматривая старые лагерные архивы, среди тысяч доносов обратил внимание (почему-то, никто ему не поручал) на донос не известного ему «Ветрова», давностью 22 года, извлёк его из папки (служебное преступление?) и передал — но не начальству, а каким-то вольным кругам, у кого лёгкое общение с иностранцами.

Почерк был неплохо подделан — применительно именно к лагерным моим годам. (У моей первой жены сохранились мои фронтные и лагерные письма. В 1974, вслед за высылкой моей, она вышла замуж за Константина Семёнова, видного АПНовца; письма мои оказались все в распоряжении АПН, уже весной 1974 оно торговало ими на Западе. Из одного американского издательства доброхот переслал мне копии. Каково получить с мирового базара — свою безразборную юную горячность...) Почерк-то подделан, хотя на самом видном месте, в подписи, графический ляпсус (что полагается по правилам чистописания, а у меня исчезло ещё со школьного времени). Были заметные переделки и в языке, но главное — в сюжете: «донос» на украинцев (добавочная цель — с украинцами поссорить), вот якобы встречи с ними сегодня, вчера, — а нас-то с украинцами за две недели перед проставленной датой разъединили в разные зоны, — где же чекистам через 20 лет всё усле-

\* «Вашингтон пост», Р. Эванс, Р. Новак, 2.9.1976.

дять? (Хотя об этом и в «Архипелаге» написано, ч. V, гл. 2, но они по лени недоглядели.) И чья ж на «доносе» резолюция? — «начальник отдела режима и спецработы». Но в лагпунктах таких *отделов* не бывает, а есть порознь: начальник режима и оперчасть (не знают!). И какая ж резолюция начальства на подготовку побега и восстания? — вместо молниеносного упреждающего удара, арестов, — «доложено в ГУЛаг СССР», — в сам ГУЛаг, в Москву! дале-конько! Ну можно ли нагородить столько профессиональных промахов?

Однако все эти наблюдения я оставил про запас, предполагая впереди публичный спор (не договорил всего до конца, чтоб их потом поймать), а сам немедленно в те же часы передал ксерокопию их фальшивки всем желающим телеграфным агентствам в Калифорнии, и к ней — заявление. [18]\* И то и другое было тогда же напечатано в «Лос-Анджелес таймс».

И — ждал. Что начнут настаивать, доказывать, другие подделки совать.

Нет. Так и смолчало ГБ, на спор не отважилось. Вместо бомбы вышла у них хлопושка. (Годом позже всё-таки ещё раз напечатали в Европе, в каком-то социалистическом журнале, — но и там бомба не взялась.)

И вот так — уходи от политики...

По библиотеке, по архивам гуверским — там можно было и ещё полгода сидеть. Но и мои обстоятельства уже подгоняли в Вермонт, к строящемуся дому, да подумал я, что уже и справлюсь, зарядился материалами. Ещё снабжали меня книгами в подарок и калифорнийские эмигранты. Запомнился чудесный старик в Бёрлинггейме под Сан-Франциско, Николай П[авлович?] Рыбалко, вдовый, живший с сестрою. Старая мебель в домике, безнаследная тишина и домиранье, а сам хотя и дряхлый, но сохранял ещё донкихотский вид и рост, не вовсе седой, и таким запомнился, при вечерних настольных лампах, — как широким распахом рук предлагал мне забирать хоть всё с книжных полок подряд. От него достались мне переплетенные «Искры», иллюстрированное приложение к «Русскому слову», за годы всей Первой войны, — прежде, ещё в Москве, я доставал только разрозненные, так необходимые фотографии для описания никогда не виданных мною людей. Теперь это всё было ещё раз вместе. Удивись: такой томину, крупнее крупного церковного Евангелия, — значит, вывозили из России? Ещё один памятный дар от Первой эмиграции: пиши! пиши!

Одну только прогулку позволил себе в Калифорнии: съездили в Лунную долину, в домик Джека Лондона. Не ахти какой он классик, но всё наше советское поколение на нём воспиталось: в 1929 и 1930 давали, за его ли социалистичность, 48 его книжечек приложением ко «Всемирному следопыту», любимому детскому чтению. И так полное собрание Лондона было у меня в детстве в числе немногих, и как все свои книги я перечитывал по несколько раз подряд — так и его. А душевные детские связи сохраняются навсегда. Во взрослом состоянии уже никогда его даже не проглядывал. Теперь в домик его запущенный (государством не охраняемый) вошёл с волнением, как будто сам я тут и жил в детстве.

В Гувере за два месяца уже набралось материалов, книг, писем несколько ящиков. Возвращаться на Восточное побережье задумано было на шевролетегрузовичке, нашей первой машине в Америке, — перещупать, почувствовать континент своими колёсами. К концу моей работы Аля и прилетела, ехать вдвоём.

Путешествовать по Советскому Союзу — лучше бы машины не придумать: всепроходима, высокая посадка, а в крытом кузове можно четверым — шестерым ночевать. В Союзе в этом и проблема: ночевать негде, дороги плохие, а съехать-то можно везде и в любой лесок. Здесь же это — дикость, тут с большой дороги просто не съедешь, и даже на обочине останавливаться не положено, а рядом с дорогой — всё кому-то лично принадлежит, ни в машине не

\* Цифра обозначает номер приложения, помещенного в конце 5 главы. Предыдущие 17 приложений напечатаны в № 9, 11 «Нового мира» за 1998 г. (Ред.)

поспишь, ни палатки не разобьёшь, появляются владельцы: уезжайте! Для но-чёвок — всюду однообразные мотели, скукота. Чтоб увидеть интересные мес-та континента, надо было бы составить очень уж долгий изломанный маршрут и проехать не 3000 миль, как мы. А мы повидали только западную пустыню, Йеллоустонский заповедник да Гранд-Каньон с его верхнего обрыва в закат (мирозданное зрелище! как Бог сотворял и может строить миры), да могуче красивую природу Огайо, — а шире и подробней с больших дорог не уви-дишь. Иные крупные города не объезжаются стороной — но ведут проезды прямо через них, по взнесенным эстакадам. Ехали и днём, и ночью, сменяясь у руля, а другой спит на сиденьи (Аля только-только права получила, но кати-ла лихо, а ночами несутся башни-грузовики, и на ремонтируемых участках де-сятки миль сужений в фонарных рядах), — уж как мы целы остались, меньше чем за трое суток домчались от Колорадо до реки Гудзон. (А в Канзасе догна-ла и оштрафовала нас полиция — и потом из протокола заочного суда сразу вырвали местные корреспонденты, распечатали по всем газетам США, и даже в журнале «Тайм», что Наталья Солженицына сильно превысила скорость.)

Приехали в Пять Ручьёв, показывал Але участок и стройку. Предстояло ей убедиться (как будто ещё время сомневаться), что можно сюда переезжать с малыми детьми, — и лететь в Цюрих, готовить эвакуацию, да чтоб отъезд се-мьи не был замечен раньше времени, и не устремились бы корреспонденты вослед вынюхивать — где мы, и через газеты трезвонить. А мы должны были прежде завершить стройку.

Именно в эту пору разорения, вдогон из Европы, достигло меня пригла-шение в Израиль от комитета кнессета — эк, куда! Но — не был бы я сейчас способен покинуть свою новую осадку в Вермонте, изломался бы всякий стерт-жень жизни и закипевшей моей работы. И я отклонил. [19] (Отдал конверт отправить Алёше Виноградову, он же по ошибке наклеил марку по американ-ской внутренней таксе, и мой ответ не летел, а плыл в Израиль морем месяца два, а там уже как возмущались!)

Теперь мне предстояла процедура официального въезда в Штаты — не как туриста, а на жительство. Для этого полагалось возвращаться в Цюрих и оттуда снова лететь. Но любезностью американо-консула в Цюрихе все необ-ходимые документы в запечатанном пакете были высланы консулу в Монреале, и теперь я должен был совершить лишь небольшую поездку в автомобиле: получить их сам в Монреале, пересечь границу в назначенном месте, Масси-не, — и тем зарегистрировать право на «зелёную карточку» — удостоверение допущенного к жительству в Штатах, а после пяти лет можно менять его на гражданство. (Ещё доживём ли? А доживём — так ещё будем ли брать?)

И от петли через Канаду снова впечатление: насколько Штаты прибран-ней, крепче, — какая основательная страна.

Ещё я сделал крюк в Буффало и повидал замечательного старика — капи-тана В. Ф. Клементьева, приславшего мне для романа свои яркие военные воспоминания ещё в Москву, «по левой», через Струве. Он был ниже средне-го роста, но очень широк в плечах, видно большой крепыш когда-то. Седая шетина, а голова не поседела. Суждения, память, глаза — беззатменно ясные, а в голосе уже проявляется старческая мягкая прихриплость. Теперь он рас-сказал мне свою жизнь — и я убедил его писать воспоминания. Простонарод-ного происхождения, он дослужился до капитана императорской армии, после октябрьского переворота ездил в Новочеркасск, но вместо Добровольческой армии направлен штабом генерала Алексеева в Москву к Савинкову и состоял в его подпольном «Союзе Защиты Родины и Свободы», два года провёл в Та-ганке и Бутырках под угрозой расстрела, уцелел; потом ушёл в Польшу, там снова сотрудничал с Савинковым. Много лет в Америке работал чернорабо-чим. И через 60 лет после революции, нищий, больной, — сохранял нестига-емый офицерский дух и жил одною Россией.

Когда, изредка, помучается моё настроение, мне достаточно вспомнить одного из таких старых белогвардейцев: вот нам стойкость во времени! вот нам пример.

В Пять Ручьёв я окончательно приехал в грозовой вечер, в канун 200-летия Соединённых Штатов, — страна начинала своё третье столетие, а я?.. — неизвестный период вермонтской жизни. На другой день слушал по радио, как они сами себя хвалят разливисто, в выражениях и чрезмерных. Понову удивился.

А жить у себя я должен был пока скрытно, в отдельном малом домике, одал от стройки — и подальше от стука-шума, и чтобы рабочие знали бы хозяином — одного Алёшу Виноградова. Как все мы в России представляем американцев чемпионами работы, так и я ждал фантастически быстрой и добросовестной постройки. Но по вечерам поднимаясь от своего домика у пруда, в самом низу участка, куда сливались ручьи, — и круто на холм, смотреть на продвижение, — изумлялся: как слабо двигается. (Купленный деревянный дом — летний, и для маленькой семьи — мы вынуждены были расширять, а ещё отдельно строить кирпичный, с просторным подвалом, со многими комнатами, чтобы взяться хранить большие архивы — надёжно и протяжённо. В том доме и для неохватной моей работы расставить несколько длинных столов (где расположатся, для лучшего разбора, сортировки, композиции, — по темам, по событиям, по лицам, потом по главам — все мои выписки, накопленные за годы, к ним сотни и тысячи мелких записей). И всё растущую библиотеку. К сожалению, Алёша Виноградов не имел возможностей договариваться с подрядчиком на аккордную плату, по выполненной работе, — приходилось гнать повременку, в трубу. Да ещё так неудачно, что именно на это же лето ему, нововступленцу в семинарию, о. Александр Шмеман поручил там строить общежитие. И так, Алёша разрывался. Постоянного контроля качества и срока постройки не удавалось организовать — и по округе быстро разнеслось, что новые хозяева — лопухи и можно нас дурить как угодно. Подрядчик ни о качестве, ни о скорости не заботился, а нагонял в день человек до пятнадцати, — больше, чем мог занять делом, — а всем платилась повременная оплата, да какая? — за час, сколько в СССР за неделю не получают. Это — не старая русская артель, где стыдно было отстать в работе! Американские свободные рабочие вели себя, как наши последние подневольные зэки: опаздывали, не сразу начинали, слонялись, то и дело садились пить кофе (этого-то зэк лишён) — да, главное, и работали иные халтурно, а если переделки — мы же снова платим ту же повременку. (Уж не говори: если где в чистом месте насолил — ни за что за собой не уберёт: ведь это — ниже его квалификации.) И вместе же с тем — нависает над прорабом бюрократия: все чертежи должны быть рассмотрены и утверждены магистратом посёлка. И вот все летние месяцы Алёша отказывал мне даже котлован копать под новое здание, пока не утвердят чертежи. И мы начали строить каменный дом под работу и архивы только в сентябре — и в сентябре же ударили ранние морозы, отчего пришлось вокруг кладки устраивать из плёнки чехлы, ставить печи, чтобы раствор не замерзал, — обошлось строительство весьма дорого, в три-четыре раза дороже, чем купить бы два здания готовыми, — да где их такие найдёшь?

Но сколько б я в это дело ни просадил, по неумелости, по невмешательству, — будущий просторный дом вознаградит меня за годы работы. Даже за это лето в прудовом домике я написал весь столыпинско-богровский цикл. На заветное — нет цены. Всегдашняя моя расплата за то, что занят одной только главной линией жизни — и ничем больше.

Прудовый домик внизу под холмом — лёгкий, дощатый, и широким окном — на пруд. До пруда — дюжина шагов, и раннее утро начинается нырком в воду. Пруд накоплен из ручья, каменною плотинкой. Он густо обставлен — высоченными тополями, берёзами, пониже — клёнами, а по круче на наш холм — весь склон в соснах и елях. У пруда — замкнутый овал, и внешнего мира вообще не видно, как нет его, — только ограниченный же овал неба над тобой — столь необширный, что и грозовая туча наплывёт — её не ждёшь, не видишь, как накоплялась и двигалась, и созвездий видишь ночью лишь малую долю. И весь разговор — с деревьями, с небом, с птицами (какая-то крупная,

с сильными крыльями, там же пряталась, по утрам-вечерам грозно перелетала), да с выскакивающими форелями, да с енотом, с дикобразом (ну и гадючки водились). Весь доступный пейзаж — только сменчивая окраска неба, облаков, да порой нехотная малая раскачка богатырских деревьев. А четыре скученных берёзы составляли как бы беседку, и между ними врыл я в землю стол на берёзовых ногах, там и сидел целыми днями. Полтора месяца, до приезда семьи, кроме Алёши и его помощника никто ко мне и не спускался никогда.

Дыши! Пиши!

И я — писал, весь уйдя в начало XX российского века. Да не был бы я самозатворником — если б задача меня не звала, не тянула. Для меня это и была самая естественная жизнь: устранить все помехи, или пренебречь ими, и работать.

Этим летом уже из сан-францисской «Русской жизни» привёз я первую стопу воспоминаний стариков, и ещё бóльшую привезли мне из нью-йоркского «Нового русского слова», — и ещё досылали, только читай! (Морем плыли пакеты из парижской «Русской мысли».)

От них ото всех, от стариков, современников революции, я принимал как бы эстафету их борьбы. И воспоминания каждого впечатляли меня как личная встреча — в *те* годы.

А вот тебе на! — мне о Гражданской войне и читать-то некогда, и отвечать некогда: после гуверских сотрясающих открытий у меня что ни день мысли, — напротив, отступают в глубь времени, там разворачиваются новые просторы и планы «Красного Колеса». Много лет, при ложном представлении о Февральской революции, я и в мыслях не имел заниматься личностью царя да и всем дореволюционным десятилетием — двадцатилетием. Но теперь, при открывшемся истинном смысле Февраля, — не избежать было шагнуть в те десятилетия, в предисторию революции. О Николае II я всё же предполагал написать — короткий полуобзорный этюд. А вот — вшагивал в повествование своей гигантской фигурой Столыпин. (О нём-то зарубка у меня в душе давно была, из-за его убийства, но до сих пор он шёл у меня лишь в прибавку к гучковской главе.) Столыпин — стоял-перед глазами, горел в мозгу. А за Столыпиным — художественно притягивался и Богров, хотя бы одну-то главу о нём? Но тогда? — тогда начинает вытягиваться и вся раскалённая нить российского революционного террора — да за 30 лет?? Ещё новая, совсем неожиданная область изучения.

Боже, сколько же не изученного оставлено за спиной, упущено, сколько не разведанного, не подготовленного материала. Когда ж это всё успеть?

А — как это всё добавочное, всю предисторию, вдвинуть в «Красное Колесо»? Только — в «Август Четырнадцатого». Но его корпус не выдержит, затрещит от вдвигки.

Ещё не знаю — куда, как? — но надо скорей, скорей писать, руки горят!

В тот год глубоким нырком в Февраль, затем и в уединённую вермонтскую жизнь, я немало и пропустил, в том числе и нападок на меня. Весной 1976 в Париже вышла ядовитая статья Суварина в защиту Ленина и против меня — я даже и не знал о ней ничего два года, доселе, — а теперь не поздно ли отвечать? — так никогда с ними не расхлабешься.

Пропустил я нечитанной и брошюру Мити Панина в оспор меня. Как всегда оторванный от всяких практических действий в живой жизни, а в заносе мыслей за краями, и после сокрушительной неудачи своей получить в союзники Папу Римского, он теперь и моё «Письмо вождям» объявил жалким соглашательством: мол, как? вообще *разговаривать* с вождями? когда надо просто испепелить их своим гневом! Нашёл он моё противостояние коммунизму недостаточным! Вроде примирился я с «советами»? (При большевиках они, конечно, только декорация, но это был тогда единственно возможный термин, которым бы выразить необходимость народного самоуправления.) Панин устремлялся к революции (чьими-то там руками и чьей-то там кровью) — я же отшатнулся от неё, и это был главный и верный импульс в моём «Письме».

Два соседних дома, старый жилой и новый рабочий, мы соединили двадцатиметровым подземным переходом из подвала в подвал — для удобства сообщения в непогоду, в ночи, и в долгую снежную зиму, чтоб меньше чистить двор; и чтобы мочь пользоваться трубами от одного колодца и отоплением от одного котла. Так где там: по американским законам магистрат обязан показать все чертежи чуть ли не любому прихожему, кто поинтересуется, «открытое общество»... И сколько ж об этом переходе потом писали, писали, захламлялись газеты — как о тоннеле, чуть ли не бункере.

А какая у нас в Вермонте защита? Только безлюдная непроходная местность, где каждый посторонний всё-таки заметен. Заборчик сквозной сетчатый — только от назойливых прохожих, ну может быть от корреспондентов да от рычащих как бензопилы снегоходов, тут на них всю зиму гоняют. Без межи — не вотчина. Купили постепенно, как чуть не в каждом доме здесь, карабин, охотничье ружьё, пару пистолетов, но даже увидев на загороженном участке незнакомого человека — разве будешь стрелять? а может он с добрыми намерениями?

Да ведь: не охранит Господь града — не сбережёт ни стража, ни ограда.

Кто не состоял с КГБ в постоянной схватке, тому могут быть странны наши предосторожности на свободном Западе, даже как психопатство. Но тот, кто серьёзно имел дело с КГБ, тот знает, что шутить не приходится. Каждая русская семья на Западе помнит похищение генералов Кутепова, Миллера или убийства невозвращенцев. Всякое соотношение сил и опасностей мы привыкли оценивать в привычных полюсах — КГБ и мы. КГБ на Западе — свободно действующая сила (и не зависит, как ЦРУ, от контроля и пригляда западной прессы).

Так и уезжала наша семья из Швейцарии: оторваться от изводящих репортёров, ступающих след в след, но и — обмануть КГБ, не дать ему заметить нашего отъезда прежде времени и закидывать сеть в новое место, впоследствии. А половинка нашего дома в Цюрихе (с доброй, но многоречивой соседкой в другой половине) была тесно обставлена пятью другими домами, всё напрогляд. И предстояло — вывезти все вещи, книги, коробки, отправляемые за океан, и ускользнуть самим с дюжиной чемоданов среди бела дня — так, чтоб это не было никем замечено как отъезд. Верная соседская пара — Гиги и Беата Штехелин, знали о нашем плане, они же взялись на долгое время и принимать почту за нас, чтоб оставалось незаметно. Да знал об отъезде штаттпрезидент Видмер, но частным образом, а не как глава города.

Всё устраивал наш умелый друг В. С. Банкул, и замечательно. Хотя почти всю мебель оставляли в Цюрихе (но плыл за океан мой неуничтожимый петербургский письменный стол, не сожжённый в гражданскую войну, в блокаду, и совершающий со мной шестой переезд, плыл и ещё один необъятный письменный стол, купленный в Цюрихе) — вещей набралось много, 120 тяжёлых ящиков только книг и бумаг. Как вывезти их неподозрительно для тесных вокруг соседей, для прохожих тихой улочки? По знакомству Банкула транспортная фирма подогнала не свою, всем известную на вид, машину, но закрытый грузовик здешней мебельной фирмы, и неразличимые рабочие в синих фартуках (доверенные Банкула) быстро туда всё перенесли, так иногда берут мебель на ремонт, на обмен. Мебельный грузовик ни у кого не вызвал подозрения. Теперь оставалось в утро отъезда, отнюдь не раннее, выйти из дому шести человекам семьи с дюжиной тяжёлых чемоданов (все рукописи везли с собой, не морем). Как это сделать? Опять по знакомству Банкула накануне поздно вечером к задней калитке подъехал пикап с надписью «Цветы», тоже обыденно для Цюриха, — и незаметно подхватил чемоданы, увёз, а дальше переняли Банкулы. Они же в утро отъезда приехали на своей машине и взяли трёх малых детей с собой, как иногда брали их на прогулку. Спустя четверть часа Аля с матерью и Митей, налегке, с малой ручной кладью, сели в машину соседа Гиги — и поехали на аэродром.

Так семья уехала, поневоле ни с кем не попрощавшись, никак не извещаясь, и только радовались мы, что обманули КГБ. Мы не задались вопросом: а

когда откроется — как это будет выглядеть для Швейцарии? Для нас существовали постоянно два напряжённых полюса — КГБ и мы. А и Швейцария — очень существовала, и это сказало дальше.

И въезд семьи в Америку, 30 июля, прошёл совсем незаметно (удивляться надо, не проговорилось иммиграционное бюро, есть же и тут люди!). И так добрались до Пяти Ручьёв. Поселилась семья во флигеле рядом со стройкой — как родственники Алёши Виноградова (трёхлетний Стёпа слышал разговоры, что «едем в Америку, вот мы и в Америке», — и этот первый приют, флигель, так и стал называть «америкой»). А я продолжал работать за надписями «private» в домике у пруда — и так прошло ещё сорок важных дней стройки. И как раз 7 сентября Алёша замкнул кольцо забора, поставил ворота, тоже сетчатые, — а 8 сентября во всей мировой прессе взорвалось как очень важное для них и для всех читателей событие: Солженицыны переехали в Америку! Нам — никогда не понять: почему им так сладко следовать? В газетах печатались карты и стрелки на картах: вот сюда, сюда, тут! — о, ничтожная болтливая пресса, нет у тебя настоящих забот? (А раскрылось — через цюрихский магистрат, этого мы не предусмотрели: поступило заявление об освобождении мною квартиры — и, конечно, чиновники сразу поделились с корреспондентами.)

Действовала на всех внезапность переезда: о людях с известностью не принято так, чтобы никаких сведений, никакой рекламы вперёд, а сразу прыжок. И нахлынули в крошечный Кавендиш больше сотни корреспондентских автомобилей — из Бостона, из Нью-Йорка, расспрашивали всех жителей городка, кто что знает, стояли у ворот, шмыгали вдоль забора, и даже искали вертолёт — пролететь над участком и сфотографировать. А нас и вовсе обезоружило, что 14-летний Митя, очень общительный и уже с беглым английским, как раз накануне уехал в частную школу, в Массачусетс. И ещё же, на грех, по верху нашего лёгкого сетчатого забора — и только вдоль проезжей дороги — провели единственную нитку колючей проволоки, чтоб зацепился зевака, кто будет перелезать. И корреспонденты вздули эту единственную нитку в «забор из колючей проволоки», которую я сам себя — и, разумеется, вкруговую — огородил как в новой тюрьме, «устроить себе новый Гулаг». Затвор у меня и предполагался, только не тюремный, а затвор спокойствия, тот один, который и нужен для творчества в этом безумном круженом мире. Но от жителей подхватили корреспонденты ещё и о пруде — и понесли сказку о «плавательном бассейне», что сразу повернуло наш воображаемый быт с тюрьмы на «буржуазный образ жизни», которому хочет теперь отдаться семья Солженицыных. Ах, шкуры, не о нас, а о самих себе свидетельствуете, чем дышите. Мы выброшены с родины, у нас сердца сжаты, у жены слёзы не уходят из глаз, одной работой спасаемся, — так «буржуазный образ жизни».

Казалось бы: демократия. Прокламируют, что уважают всякие, всяческие права, своеобразие вкусов личности, даже причуды. Почему же такая раздражённая нетерпимость к попытке уединиться?

А ещё, выстаивая перед самозакрывными (от центральной кнопки) воротами, довольно обычным устройством в Штатах, сочинила разгорячённая корреспондентская фантазия, что у нас — электронная сигнализация и защита вкруговую по всему забору, и подано на проволоку высокое напряжение, и значит тем более «он хочет создать себе Гулаг!» Понесло, понесло, прилипло, не отмыть, так по всему миру и пропечатали: «круговая электронная защита». Обидно — но и выгодно, сообразили мы: чего мы не в силах бы соорудить — они соорудили за нас, единственный раз корреспондентские языки помогли не ГБ, а нам. Мы — не опровергали, и так осталось на годы, что к нам не пробраться. (А у нас в глубинах леса весенние потоки каждый год во многих местах валили забор, мы и не чинили, прямо перешагивая.)

В первые недели наведывались и с русским языком неизвестные. И в «недоступных» воротах оставили записку: «*Борода-Сука За сколько Продал Россию Жидам и твоя изгородь не поможет от петли.*»

К ходу суждений не упустила присоединиться и дочь Сталина. Утопленная в американском быте, воспитываемая дочью американкой, упрятанная от советских агентов за хорошей охраной, — услышала сплетню о моём «электронном и колочном заборе» и глубокомысленно присудила в интервью: «Как это по-русски!» (По-древнерусски? а не от ГБ её папаши?) И «Голос Америки» и «Новое русское слово» разносили её весомое заключение: это — *по-русски!*

А между тем в Швейцарии социалистический «Тагес анцайгер» вышел с заголовком чуть не на полстраницы: «Семья Солженицыных бежала из Цюриха». И другие, рисовали карты: «Глубоко в Вермонте, за семью горами». Швейцария обиделась, вся целиком. И на небывалую тайну отъезда (правда, грубо получилось, мы не подумали), да даже и на сам отъезд. Швейцарцы многоблагодарные ощущали так: они приютили, защитили гибнущего изгнанника, они были добрыми хозяевами, а он гостеприимства не оценил, уехал неблагодарно, тайно. Да, не тем были наши головы заняты, упустили мы написать и к моменту газетного взрыва напечатать хоть припоздавшее прощание. Рядовые швейцарцы были ко мне всегда хороши, да. А о том, что швейцарская полиция запретила мне на политику рот раскрывать, — об этом же не было известно; и что я уезжал не только от городской суеты, но и от шныряющих чекистов, тоже не объяснишь. Создавшуюся на меня обиду хорошо разыграла левая и бульварная швейцарская пресса. (Эти два качества часто сливаются, как и в России было перед революцией: «Биржевые ведомости» — «Утро России» — «Московский листок», да длинный ряд.)

А американская публика, и приветливая, и детски жадная до сенсаций, конечно, сразу нахлынула лавиной писем, телеграмм, новых приглашений, поздравлений, самых доброжелательных пожеланий, — однако лавиной, под которой можно было бы погибнуть новичку. Но я, пережив таких взрыва в жизни по крайней мере уже два, был не новичок. А когда лавина и схлынула, продолжал литься поток изрядный: с приглашениями выступить, или кого приветствовать, или кому писать предисловия; с указаниями, по каким вопросам публично выступить, кого я должен немедленно защищать; с запросами от славистов — какие дополнительные сведения я могу дать по поводу такого-то места в такой-то моей книге; от родственников — не знал ли я на Архипелаге такого-то и такого-то; и от больных: как лечиться от рака, где достать и как применять иссык-кульский корень, берёзовый гриб... — этим-то больным я всегда отвечал.

Осложнение угрозилось с другой стороны: со стороны местных жителей. Обведение участка забором, хоть и прозрачным, было здесь необычно и вызывающе. К тому ж он перегородил один из путей для снегоходов, ими здесь увлекаются, носятся по лесам и горам. Губернатор штата Снеллинг, к которому я съездил познакомиться, дал мне хороший совет: выступить и объяснить на ежегодном общем собрании местных граждан. Это было уже в конце февраля, на исходе нашей первой вермонтской зимы, я поехал, посидел, выступил. [20] И в округе сразу обстановка разрядилась, создалось устойчивое дружелюбие.

При поездке в столицу штата я узнавал возможность основать своё бесприбыльное издательство. Едва мы с Банкулом вышли от чиновников — к ним тотчас забежала корреспондентка, они обязаны ей всё отвечать, — и на другой день по всему миру покатилось в чём-то для них опять сенсационное сообщение: что я с переездом в Вермонт открываю своё издательство. (И вскоре ко мне стали поступать запросы, как бы напечататься, а то и прямо рукописи.)

Я, именно с переездом, действительно серьёзно обдумывал создать своё издательство. Это должно было быть дочернее учреждение от Русского Общественного Фонда, издавать книги, нужные в России, и бесплатно посылать туда. Уже первая такая серия и звала меня — Исследования Новейшей Русской Истории (ИНРИ). Столькое в нашей исторической памяти провалено, столько документов уничтожено зломысленно — но хоть что-то, хоть что-то ещё можно выхватить из забвения?? Очень я был уверен, что мы соберём круг сильных

авторов, старых и молодых. Но и сразу же увидел, что нам одним не возмочь: у себя в Кавендише мы сумеем (ещё сумеем ли?) вести только редактуру да в лучшем случае набор, и то не хватает рук и сил, некем взяться. А где — производственный отдел? распределительный? кто поведёт всю переписку, отправку, рассылку? Как всегда во всяком русском деле: нет людей. Только на американском континенте, говорят, больше миллиона русских эмигрантов, никто не считал, да хоть полмиллиона, а — ни на какое серьёзное дело нет людей. Хороша молодёжь, а к поре никого не найдёшь.

Мысль о своём издательстве родилась у меня и от переезда на новый континент, и от напора замыслов: «Имка» по-прежнему ощущалась мной как разлохмаченное, плохоуправляемое издательство, в нём проявлялись книги самых неожиданных уровней и направлений, — не знаешь, какого курбета ждать ещё завтра. Безднадёжность устойчивой работы с издательством неряшливого стиля становилась уже такова, что о своём русском собрании сочинений я вступал, через того же Н. Струве, в переговоры с французским издательством «Сёй». Затем стало казаться, что Струве всё же возьмётся руководить «Имкой» фактически и открыто, и я обещал ему содействие. В конце 1977 отставку Морозова предложил его близкий друг Б. Ю. Физ, член РСХД, поддержал и о. Александр Шмеман. В конце длительных дебатов в Движении Аля была в Париже весной 1978 и подтвердила от моего имени, что я тоже поддерживаю отставку. Морозов согласился уйти на условиях, что тощее издательство ещё более шести лет будет платить ему полное жалование до пенсии и с сохранением чина «литературного советника»\*.

Однако и тут заменил Морозова не Струве, который всё не решался на администрирование («меня тяготит собственная раздробленность», перед ним немало начатых и недоиденных путей творчества), а пост этот, как и добивался, занял третьеемигрант Аллой. Я никогда его не встречал. Но издали глядя — от деятельности его в «Имке» осталось ощущение возбуждённой лихорадочности, темпа как цели.

Теперь, доехав до оседлого места, решились мы с Алей и на выпуск моего 20-томного Собрания сочинений. Разве было у нас когда-нибудь, в нашей подпольной суматошной гонке, время — сверять распархивающие по рукам самиздатские тексты? А для самих себя не упускать регистрировать разницу текста истинного и советских изданий? А в зарубежных публикациях ошибки и опечатки, — когда́ было время сидеть и вылавливать их? Вот — только теперь. И ещё же: к «Архипелагу» мне за границей слали и слали дополнения, многое хотелось внести, — но и, наконец же, на каком-то рубеже остановиться, так и конца не будет. А пьесы мои, сценарии — вообще никогда не появлялись, надо же сразу дать выверенные тексты. Глубокая тишина Пяти Ручьёв давала нам с Алей возможность наконец сосредоточиться и не спешить.

Но: если типография будет где-то вдали, то работа бесконечно замедлится неоднократной почтовой пересылкой гранок. Значит, надо набирать — прямо здесь, в нашем доме. И ясно, что — Але, кому ж ещё? Тем более, что на каждой странице ждёт её редакторская помощь. Да теперь ведь и не прежний линотипный набор, теперь ведь есть какие-то электронные машины наборные? Ещё новый тёмный лес. Начинаем на ощупь письменный розыск, срав-

---

\* Кроме своей полной обеспеченности от «Имки», Морозов сохранял и преподавание в Богословском институте — так что потеря руководства «Имкой» не была для него потерей всякого живого дела; но сказалась, видимо, его многолетняя болезнь — в ноябре того же года он покончил с собой. Это вызвало затяжные волнения в РСХД, ссоры близких, травлю Струве (ограничить его редакторские права), отрицание душевной болезни Морозова, раньше всем известной, РСХД арестовывало тираж очередного «Вестника» с некрологами, словом, душная шмящая эмигрантская история, когда потеряно ощущение родины, и перспективы, и смысл работы.

Получил и я возмущённое письмо от группы членов РСХД. И хотя они совершенно не понимали, что Морозов уже только сбивал издательство, а не направлял его, — но сам я очень раскаиваюсь, что вмешался в эту внутреннюю перетасовку в «Имке» — угрозой больше не печататься в ней при Морозове. (Примеч. 1979.)

нение систем. Много помог Михаил Рошак, карпаторосс, дьякон Свято-Владимирской нью-йоркской семинарии, он по семинарской издательской работе был с этими системами сколько-то знаком. Потом, по наследству от него, кураторство над наборной машиной принял другой тамошний семинарист, Андрей Трегубов, которого, с женой Галей, мы пригласили жить с нами в Вермонте. Трегубов — с ясным техническим смыслом, и довёл дело до покупки и освоения «компоузера» фирмы IBM, совмещающего электронное (с памятью) и механическое устройство. Затяжная была покупка, но всё-таки Двадцатый век нас выручил, без этого не знаю уж как бы. И всё оформление собрания сами сочинили, дома, своей семьёй, благо Трегубовы оба оказались художники.

Аля быстро, во всех деталях овладевает и набором и вёрсткой, повела моё собрание сочинений, том за томом.

А тут — расширяются наши планы: тогда не изготовим ли сами и какие тома Мемуарной серии, где нужна редактура? а что готовней — отдадим набирать в «Имку»?

Этот смежный проект меня отначала мучил — Всероссийская Мемуарная Библиотека (ВМБ). Подобно тому как стекались ко мне ценные воспоминания свидетелей революции — ещё больше могла написать, потому что моложе, Вторая эмиграция: о первых 25 годах подсоветской жизни, о превращениях Второй Мировой войны, о беженском состоянии, о выдачах с Запада, о европейской послевоенной жизни. И я в Кавендише написал отчётливое обращение к тем возможным воспоминателям. Однако уткнулись: какой адрес дать? Если прямо наш, и без проверки на взрывные устройства, — большевики могут мину прислать. (Как посылали и Солоневичу в Болгарию, и, открывая почту, взорвалась жена.) Больше полугода думали, как быть, — пока поселившаяся у нас к тому времени Ирина Алексеевна Иловайская сумела договориться с бостонским почтовым инспектором И. М. Петерсоном (его личная любезность), что они будут всю почту принимать на себя, проверять на мины, распаковывать — затем пересылать нам. Лишь вот тогда проект стал осуществим, и я дал публикацию в газетах, осенью 1977\*. Таковы реальные условия на планете, когда есть КГБ. Таково и шла к нам почта ВМБ года два, потом, когда схлынул главный поток, перенаправили прямо к себе в Кавендиш.

Оформлять это собрание рукописей Мемуарной библиотеки, систему хранения, картотеку и вести переписку с авторами поначалу взялся Андрей Трегубов\*\*. Однако удивление: Вторая эмиграция почти не стала рукописей слать! Вот так большевики напугали её на всю жизнь. Почти все продрожали несколько послевоенных лет от розыска СМЕРШа, от англо-американских выдач Сталину, — они уже ни в какую безопасность не верят, до гробовой доски, даже и переехавши через океан. Иные и до сих пор живут под выдуманными фамилиями, и это трезво, выдачи от американцев продолжались и в последующие годы. А шлёт нам рукописи — снова Первая эмиграция.

Летние и осенние месяцы 1976, пока у нас на холме стучали молотки и рычали трактора, я в своём уединении у пруда работал невылазно. Теперь я остро ощущал недостаток своей конструкции «Колеса»: неполноту охвата до 1914. Я открывал всё новое и новое, что никак невозможно вынуть из ретроспективы: не только всю деятельность Столыпина, и убийство его, и стержень терроризма, и кровавую муть 05-06 годов, но и всё долгое царствование Николая II, особенно примечательное, не истрёпанное банальными спорами, в *первой* своей половине: монарх сумел за *первые* одиннадцать лет, получив государство в могуществе, спустить его в пропасть. (Спасённое Столыпиным в

\* «Публицистика», т. 2, стр. 471 — 473.

\*\* Вскоре он окончил семинарию, стал *отец Андрей*, получил приход в недалёкой от нас, 20 миль, церкви, американской православной автокефалии, и на долгие годы стал священником этого постоянного для нашей семьи храма — дети наши во многом возрастали под его сенью. Галя, до отъезда Трегубовых от нас, до рождения своего первого ребёнка, ещё тоже приложилась к нашей наборной работе. (Примеч. 1993.)

1906, за *вторые* одиннадцать лет спустить его так же.) И — философию самих революционеров, отступая во времени всё далее, всё далее — наконец до народовольцев и до трагико-сатирического суда над В. Засулич. И всё это как-то умело спрессовать — да куда же? оставалось только в «Август». И решил: делать «Август» двухтомным. А как мучительна эта переделка уже по сделанному. Сотрясалась сама система Узлов. Если у меня озаглавлено «Август Четырнадцатого» — то по какому разуму это всё тоже втискивается сюда? Но и не начинать же Узлы с 1878 года! Как последнее спасение придумал ввести отступную диагональ «Из Узлов предыдущих» — от сентября 1911 и до 1899 года — самое дальнее расширение пошло через фигуру Николая II, глава о нём разрослась колоссально.

Однако теперь я обнаружил, что в Гувере, в вихревом сборе материалов, собрал далеко не всё нужное. А вот ударила ранняя зима с начала ноября, строительство всё не кончалось, я всё сидел в летнем домике, — тут и кстати было ринуться ещё раз в библиотеку. Эмигранты Алексис Раннит — эстонский поэт и профессор Йеля, и его жена Татьяна Олеговна устроили мне замкнутое пребывание в Йельском университете на каникулярную неделю Дня Благодарения. В номере для гостей профессоров уже настаивали они мне (натащили своими немолодыми руками) толстенные тома стенограмм Государственных Дум, «Красные Архивы», «литературу» народовольческую, Пятого года, — и взаперти и в упоении я прожёгся там неделю, ни разу не выйдя наружу, с сухим пайком. И так — заложил все новые обнаруженные проёмы. Теперь — только гнать-писать!

В ту осень, пока в прудовом домике было холодно, ещё и в Нью-Йорк съездил я, в Колумбийский университет, поработал ещё в архиве Магеровского, взял там тоже очень нужное. А по центральному Нью-Йорку прошёлся поздним вечером — какой чужой город! Слава Богу, я тут не нуждаюсь жить. Скорей к себе в Кавендиш.

Только под самый Новый год, уже в мятельном морозе, достучали молотки кровельщиков над трёхэтажным рабочим-архивным домом. В том же доме с большой любовью достроил нам Алёша и домашнюю церковь. (Образы к царским вратам написала нам позже Мария Александровна Струве, жена Н. А., — сердечный иконописец, дочь известного священника о. Александра Ельчанинова. Освятить церковку, Сергию Радонежскому, приезжал епископ Григорий Аляскинский, с Аляски и антиминс.)

И в свой теперь светлооконный (даже и в крыше бесчердачной есть окна), высокий, просторный, холодный, никогда и не мечтанный такой кабинет — я перетащил четыре письменные стола, для символа 31 декабря, — а 1 января 1977 начал работу.

С шуткою вспоминал пословицу: «Своя избушка — свой простор». Никогда я так не жил и не грезил! Под *этой* сенью — можно писать эпопею!

И положил себе: ну, теперь только работа — и ничего не знаю больше. Это должен быть первый настоящий рабочий год в моей жизни.

На самом деле год оказался растереблен отвлеченьями и расстройтвами. Но и несмотря на то он удался очень успешным — и рекордным по числу написанных страниц, и в нём же я выработал новую для меня методику «Марта Семнадцатого». Вот была наконец передо мной — Революция! С юности я и знал в себе интерес и темперамент описывать именно революцию, и был готов и пристрастен к этой работе. Но не легко поддалась она — слишком непривычна по сравнению со всем, что я до сих делал. Ошеломлён я был ударившим в меня фонтаном февральско-мартовских событий — однако он же вознаграждал многими находками. Вход в Февральскую революцию бешено швырял: вдруг обнаруживались противоречия между источниками — и найди же верный!

А документы — так и впиваются в тебя и требуют отражения. Исторические документы — упоительны, можно бы цитировать и цитировать обильно, но нет: это и развалило бы повествование, и увело бы от наилучшего их ис-

пользования: держа в руках достоверное сообщение, протокол или запись важного телеграфного разговора — сосредоточиться и увидеть: *из чего* документ родился у его составителей? какие тут были скрыты обстоятельства, расчёты? Кто послал телеграмму — что он чувствовал? и что почувствовал, подумал тот, кто принял её? даже особенно в тот момент, когда пропускал телеграфно-буквенную ленту сквозь пальцы — и готовясь тут же ответить? (Подобно тому задышали и стенограммы тогдашних обильных совещаний.) Этот метод был насколько богаче — и психологически, и в политическом движении — и давал наилучшее поле для разработки исторических персонажей. А потом — влекло обнаружить и те последствия, иногда совсем неожиданные, как тут же, через безответственные газеты и через молву, исказились (и закрепились навсегда!) — самый факт, и смысл документа, и даже дата его.

И — совсем новый монтаж: почасовой, а для того и возможная краткость и даже стремительность глав. И даже: движение событий по часам, а где и по минутам. И охват по местностям и по общественным группировкам понадобился куда шире, чем я задумывал прежде. Но и никогда же с такой методичностью и полносчётностью я не прочёсывал исторических материалов: прежде вечно спешил и вечно не бывало комплекта.

Теперь всё, что я не спал, — всё работал, не отвлекаясь ничем, что не Февральская революция. Даже странно становилось вспомнить: ещё совсем недавно — два года назад и год назад, я там, кажется, пытался спланировать Восточную Европу на освободительное движение, Западную Европу и Америку — на самозащиту? Теперь хотелось — чтоб ничего со мной не случилось, никаких внешних событий, нечего бы отметить в личном календаре, — это и есть признак счастливой жизни! Вот так бы поработать три-четыре годика, что-то бы и вышло. Работать — до тех пор, пока исчерпается опыт всей прожитой жизни, и уже надо будет двигаться за обновлением его.

А куда двигаться? Да только — в Россию. Будущую, полубудущую, или хоть немного благоприятную. Только тогда откроется во мне и способность писать маленькие рассказы — уже о современности. Только тогда, в обновляемой России, захочется и действовать, и кинуться в общественную жизнь, попытаться повлиять, чтоб не пошла она опять по февральскому гибельному пути. Новый напор жизни, и читатели наконец русские, без перевода, — это и будет ещё одним рождением, ещё одной юностью, при седой бороде. (И хотя рассудок не видит, как бы это могло стать, — но всем предчувствием верю, что возврат произойдёт ещё при моей жизни.)

А здесь, на Западе, к чему мне и те позиции, где я крепко стою и где как будто слушают меня? Всё это — без истинной пользы, и душа к тому не склонна. Всё больше вижу я, что государственный Запад — и газетный Запад, да и, конечно, бизнесменский — нам и не союзник, или слишком небезопасный союзник для преобразования России.

Да уже и проквозил мой новый поворот, и уже его на Западе различили. Оглядываясь, теперь можно удивиться, что та слитная поддержка, которая так подносила меня в бою с Драконом, — поддержка западной прессы, западного общества, да и в СССР, — то невероятное и неоправданное усиление, которое я тогда получил, — создано по взаимному недопониманию. А на самом деле всевершающему мнению западной интеллектуально-политической верхушки я так же мало угоден, как и советским правителям, да и советской образованщине.

Тут ведь ещё: какая сомнительная двойственность позиции, когда нападаешь на советский режим не изнутри, а извне: в ком ищу союзника? В тех, кто противник и сильной России, и уж особенно национального возрождения у нас. А — *на кого* жалуюсь? Как будто только на советское правительство, но если правительство как спрут оплело и шею и тело твоей родины — то где разделительная отслойка? Не рубить же и тело матери вместе со спрутом. Например, в американских речах 1975 я призывал — не давать СССР электронной техники, сложного оборудования, но не сказал же такого о поставках зер-

на. Не сказал, однако получилось ли так в расширительном смысле, или говорили другие, а это наслаивалось в общественном впечатлении, — приехал в Нью-Йорк ценный мною Олег Ефремов, главный режиссёр МХАТа, с Мишей Рошиным, драматургом, и говорили Веронике Штейн: «Зачем же Исаич к войне призывает и говорит: не давать зерна? А люди будут голодные сидеть?» Боже, да я именно *не* призывал к войне, это переврала американская пресса, — но именно в *таком* виде докатилось до наших соотечественников, поди, вот! И о *зерне* — ни о каком я ни слова не говорил, а поди теперь докричись. Правда: как же выступать? и чего хотеть?

А ведь я живу — только для будущей России. Но вот безоглядным проклинанием всего порядка в стране — я и России, может, не помогаю? и себя отсекаю от родины навек. Как бы — полегче?..

Всё, всё так совпадало, что лучше бы мне надолго замолкнуть, не выступать. И со временем какой-то плодотворный исход наметится сам собою.

Но преодолешь наянливость западной медиа — так не продремлешь от советской лапы. Как можно заключить перемирие с Дьяволом? Он-то всё равно не будет его соблюдать.

Хотя б вот я и замолчал, но наш Русский Общественный Фонд на территории СССР продолжал работать, вызывая у власти воистину бешенство: никогда ещё за 60 лет не была организована с Запада помощь преследуемым в СССР — и так, чтоб они не боялись брать (не «от империалистов!»). Брала — потому что я был заведомо свой зэк, и деньги — честные, архипелажные. Какими затайными путями мы (Аля и кто ей помогал) умели пересылать помощь сквозь Железный Занавес — удивляло многих, а власти бесило. Пока они грабили только 35% денежных переводов — мы много слали официальными переводами. (Алик Гинзбург для этого нашёл с десяток «получающих», не боящихся, и потом передающих другим.) Другая успешная форма была: отъезжающие эмигранты оставляют Фонду в Союзе советские деньги, а на Западе Фонд им платит долларами по реальному курсу — доллар за 3, потом за 4 рубля. А когда большевики ввели грабёж переводов уже в 65% — посылать деньги официально потеряло смысл. Но тут мы нашли изворотистую тайную форму. Хотя Советы объявляют дутый официальный курс, значительно выше доллара, сами меняют иностранцам по-другому, — но наказывают подданных за всякий обмен рубля, иметь валюту может только государство. Советские же граждане, попадая на Запад, с радостью меняют советские ассигнации, сколько могут. И вот доброхотный неоченимый наш друг, затем и член правления Фонда В. С. Банкул, швейцарский гражданин, для начала прибегнув к помощи своего друга, русского армянина, живущего в Женеве, Сергея Нерсесовича Крикоряна, а затем сам наладив дело в Цюрихе, стал производить обмен обратный: за франки выкупая наши родные советские рубли — но исключительно отбирая трёпаные, затёртые бумажки, а они среди хрустящих натекали не слишком быстро, и это одно задерживало размах нашего обмена: нельзя же посылать в СССР свеженькие, цельно-серийные. (Называлось это всё у нас — «операция Ы».) Следующий труд был — перевезти эти деньги через границу в чемодане в Париж к Струве, это всегда делала Мария Александровна Банкул. А Струве всегда знал наших тайных связных по каналам в СССР — он и сам иногда поставлял на французскую дипломатическую службу в Москве своих бывших французских студентов, учившихся на русском факультете. Эти героические помощники все названы в «Невидимках». Итак, в Москву тайно привозились многозначные, многотысячные пачки советских трёпанных денег — и через посредников передавались распорядителю Фонда — им был Алик Гинзбург, до его ареста в начале 1977. (Вот это «посредническое» звено — чаще всего Ева, потом и Боря Михайлов — было остро опасным: советский подданный, «накрытый» в момент, когда взял от иностранца огромную сумму денег и ещё не раздал её, — мгновенно получил бы тяжёлую статью; а у Бори Михайлова пятеро детей...)

Нелёгко путь — но немало сложностей и опасностей доставалось и дальше, распорядителям. Большими и неожиданными порциями получая эти тысячи, они должны были тотчас их рассредоточивать и хранить: или в безопасных домах, где не ожидается обыск, или на неподозреваемых сберегательных книжках. Перенос денежных пачек к местам хранения, а потом назад, к местам распределения, каждый раз представляет опасность для всех участников. А ещё сложность задачи: почти безо всяких записей (всякие списки опасны, нелзя держать) помнить множество фамилий, имён, адресов, составов семей, возрастов детей, нужд их, — а также самих арестантов, их сроки, состояние, место пребывания, — и в согласии с этим всем распределять помощь, да встречать при том не только благодарные слёзы, но выдерживать атаки обид, жалоб, подозрений (подогреваемых гебистами через их агентуру в зэках и бывших зэках). Во всех подробностях расскажут когда-нибудь сами деятели и даже отчёты опубликуют, если сумеют их сохранить.

Чтоб эту систему впервые создать и наладить — нужен был человек исключительных организационных качеств и сердечно-умственной направленности. Алик Гинзбург и был таким: его два предыдущих лагерных сидения нахлопнулись и спрессовались в нём как вечная преданность узникам Архипелага и память (феноменальная) обо многих из них. И первые три трудных года Фонда — необычайность, дерзость! да разве стерпят власти? — обложенный слежкой, запретами, изматывающим преследованием гебистов, из своей злополучной глухой Тарусы — он сумел наладить всеоюзную независимую милосердную организацию, которая из года в год на деньги «Архипелага» помогала сотням узников и семей их, и уже имела, помимо Европейской России, свои отделения на Украине (особенно активное), в Литве, в Сибири, у баптистов.

И, может быть, до сих пор бы терпели опешенные власти — если б Гинзбург не сделал крупной ошибки: кроме своего распорядительства вступил в «хельсинкскую группу». Отначала было ясно: многое уже стерпел — ещё такой группы, кто будет «проверять», как советское правительство выполняет внешнеполитические соглашения, — оно не потерпит. Руководство благотворительным Фондом обязывает не включаться в политическую борьбу, не подписывать никаких заявлений, кроме как по нуждам Фонда.

И в феврале 1977, едва успев дать важную пресс-конференцию о работе Фонда, Гинзбург был арестован.

И — как же мне «помолчать»? Как мне выполнить самозадуманное перемирие? Разве возможно оно с этой глотающей Пастью?

Тотчас я и делал заявление об его аресте — но, конечно, не в затасканной форме «это неприемлемо, я негодую и решительно протестую», а остро напрокол советской власти: что подавление внутреннего сопротивления — это звено в тотальной подготовке советского тыла, и Западу надо подумать о себе. (Оглядчивый на свои власти «Голос Америки» опустил, не передал решающую последнюю фразу — всё они мечтали дружить с Советами...)\*

А тут вослед надо было слать и подбодрение наследникам Гинзбурга, перенявшим Фонд, в ответ на их письмо ко мне. Уж это я написал как мог примирительно, подчёркивая одно лишь дело милосердия, умягчая, — чтоб *этих* не схватывали следом. Письмо послали «по левой», оно сперва появилось в Самиздате, лишь потом опубликовали его на Западе\*\*.

Аля энергично начинала долгую, шумную, изнурительную кампанию в защиту Гинзбурга и Фонда. Я, в этот же заветный год «молчания», посылал ещё и телеграмму римским Сахаровским слушаниям\*\*\*, затем не избежать было телеграммы коалиции демократического большинства Сената\*\*\*\*, а там — лиши-

\* «Публицистика», т. 2, стр. 469.

\*\* Там же, стр. 470.

\*\*\* Там же, стр. 478.

\*\*\*\* Там же, стр. 479.

ли гражданства Ростроповича и Вишневу — из-за кого ж, как не из-за меня? и как же мне смолчать?

И какое ж возможно перемирие с большевиками?

Но и то — прошёл год без крупного от меня выступления, и моё молчание конечно не осталось незамеченным и неосуждённым, среди Третьей эмиграции и в западной образованщине. Когда я непрерывно выступал — брюзжали: «Что его гонит? Его съедает честолюбие». Вот я замкнулся — озлоречили: «Он отдался гордыне, воображает себя сверхчеловеком». Годами я страстно вмешивался в политику — кривились: «Это не уровень для писателя, он уже исписался». Вот я стараюсь не касаться политики, сосредоточился только писать — присудили: «Он изменил всем принципам и покинул соратников в беде». Достаточно было дочери Сталина с какого-то налёту прервать свою многолетнюю бытовую немоту и послать телеграмму персидскому шаху, чтоб он не выдавал Советам перелетевшего советского лётчика, — и сразу эмиграция гудела, и даже нью-йоркская газета печатала: «Аллилуева выступила, а почему Солженицын молчит?»

Кампания за Гинзбурга потребовала огромных сил, каких как будто не было у нас, и настойчивой изобретательности — в чужой стране, где мы никого не знаем, ни с кем не связаны. Всё это взяла на себя моя жена, у меня никак не нашлось бы столько сил и порыва, у меня — слишком велик весь фронт, и вглубь истории и по Земле. Но Аля считала: ни за что нельзя спускать Советам арест распорядителя Фонда, тогда погибли и все следующие, и сам Фонд, — должны знать большевицкие власти, что мы будем биться до последнего. И пришла удавшаяся идея: просить виднейшего вашингтонского адвоката Эдварда Беннета Вильямса — «защищать» Гинзбурга (советские власти несомненно были смущены). Я написал ему письмо [21] с такой необычной просьбой — и Э. Б. Вильямс взялся, из соображений высоких, и от гонорара отказался. Ксеромашина наша делала много сотен копий — самиздатских материалов о Фонде, о Гинзбурге, о ходе следственного дела, о преследованиях всякой милосердной деятельности в СССР, — и всё это рассылалось из нашего дома сенаторам-конгрессменам, то разным американским организациям, особенно христианским.

Сколько писем — и не только по-английски, сколько телефонных звонков! Всё это взяла на себя Ирина Алексеевна Иловайская, тут место сказать о ней. Она была из второго поколения Первой эмиграции, образование получила в русской гимназии в Белграде до Второй войны. Мы познакомились с ней ещё в начале 1976 в Цюрихе, перед отъездом в Америку, и уже тогда сговорили её быть у нас тут секретарём, помощником, переводчицей, — многообразно. Вдова итальянского дипломата, она покинула свою римскую квартиру, двух взрослых детей, и осенью 1976 переехала к нам в Пять Ручьёв. Ей доставалось быть и «пресс-секретарём», отвечать на неотступные запросы печати, и вести дела с американской администрацией разных отраслей и уровней, и вести нашу западную переписку (она свободно владела семью языками). А уж от сердца — находила время вдобавок нашим с Алей урокам давать детям и свои (при возрастах 4, 5 и 7 лет многое приходилось вести в отдельности), очень привязалась к ним и они к ней тоже. Её же собственный поглощающий, настойчивый интерес — дело христианского просвещения”.

Дальше в борьбе за Алика Гинзбурга посоветовали нам: по-американски надо создавать «Комитет защиты». И создали комитет защиты, собрали крупные имена. (Этот комитет был отступлением от моего принципа никогда не

\* «Публицистика», т. 2, стр. 480.

\*\* Прожив с нами в Вермонте два с половиной года, И. А. уехала весной 1979 в Париж, где стала, после З. А. Шаховской, главным редактором «Русской мысли». Православная по рождению и воспитанию, она, однако, нашла себя в католичестве. В середине 80-х организовала христианское радио «Благовест», вещавшее на русском языке из Европы в СССР, а в середине 90-х — устроила «Христианский Церковно-общественный радиоканал» в Москве. (Примеч. 1997.)

подписывать коллективные заявления, не участвовать в комитетах, — вот, пришлось.) Публиковали крупное объявление о Комитете в «Вашингтон пост», с портретом Гинзбурга, со дня на день ожидался суд над ним. Аля ездила продвигать кампанию в Нью-Йорк, Вашингтон, потом и в Париж и в Лондон, давала интервью, не скупясь на удары по советскому режиму, встречалась с влиятельными людьми, с Маргарет Тэтчер, — кампания удивительным образом закружилась громко и внушительно. (Советы ещё прежде оценили мою жену: в октябре 1976 отдельным указом лишили гражданства и её.) И ещё я дал интервью телевизионной компании Эй-би-си к годовщине ареста Гинзбурга — они же его проглотили, не передали. А по отношению ко всем содействителям возникают встречные обязательства благодарности, ещё новых встреч и писем, ожидали моих выступлений где-то. И ещё тотчас после Гарвардской речи, на кампусе, где много было прессы, я тоже сделал заявление — именно и только о Гинзбурге\*. (Прогрессивная гарвардская студентка подошла туда с плакатом: «Не поддерживайте фашистов!» — вот так они понимают...)\*\*

Но нам, внутри, это обошлось черезкрайним напряжением Али: и воспитания детей не прервёшь («деток родить — не веток ломить»), а первый год мы решили не отдавать их в американскую школу: до того как нырнут в англоязычный океан, уже бы хорошо читали по-русски). И очередной том собрания сочинений — набирать ей же. И первичную обработку стариковских мемуаров, и своевременные ответы им, и поощрения к новым писаниям, уточняющие вопросы, — да иные старики и умирали, не дождавшись отзыва. За всё приходится платить кусками сердца. Уж не говоря, что наши архивы и до сих пор не распечатаны после Цюриха, и живая переписка ещё не разложена систематически, бывает невозможно найти прежние письма для справки и ответа.

И в эти же месяцы случилась беда с русским «бахметевским» архивом, Л. Ф. Магеровский прислал мне вопленное письмо, умоляя вмешаться, заступиться.

История архива такова: с 20-х годов русская эмиграция собирала в Праге богатый архив воспоминаний и документов — ведь целая мыслящая Россия выехала, это был большой кусок живой России, клад для истории. Но в 1945 Советы оккупировали Прагу — и проглотили архив, увезли в Москву. С тех пор его концы наружу не подавались: очевидно он — «спецхран», спецдопуск, или вовсе закрыт. Можно рассчитывать только, что большевики его не уничтожили и не успеют потом, и сохранится архив для нашей истории дальней, но не ближней\*\*\*. Однако русская эмиграция, в основном перевалившая в ту войну за океан, — нашла в себе энергию начать в Нью-Йорке собирать новый архив, второго эшелона, а главное: нашла людей, память и факты для новых воспоминаний, доказав свою глубину и жизненность. Душой и хранителем стал профессор Лев Флорианович Магеровский, один из сотрудников прежнего пражского архива, главные организаторы кроме него — Б. А. Бахметев, последний посол Временного правительства в Штатах, и американец Филипп А. Мозли, друг России. Бахметев распоряжался и оставшимися русскими деньгами («бахметевский фонд»), так что некоторые средства были, — а как с помещением, статусом? В это время ректором Колумбийского университета был генерал Эйзенхауэр, в последний год перед своим президентством, — и предложил архиву приют в университете. Никакого делового письменного соглашения при этом заключено не было (но и что ж Бахметев смотрел?), а — по-джентльменски. Так и пошло, с 1951 года. Дали вентилируемый подвал без окон, и в тесноте да не в обиде Магеровский четверть века собирал и собирал воспоминания — большого охвата, от давнего революционного движения, и более всего Белого, находил возможных авторов, уговаривал их, пока живы, писать, сдавать на хранение, лично на себя принимал условия: от некоторых — секретности, от других — непременно возврата по требованию. Бился он всё сам, без штатов, за малое вознаграждение из бахметевского

\* «Публицистика», т. 2, стр. 481.

\*\* После 17-месячного следствия присудили Гинзбургу 8 лет в лагерях особого режима (это уже третий его срок). И невозможно было представить победу — а вырвали! — чего не бывает. Говорят, в Госдепартаменте, при подборе кандидатов, кого требовать в обмен на выпускаемых советских шпионов, учли размер поднятой кампании. (Примеч. 1982.)

\*\*\* Да! сохранился (уж там насколько полно). И теперь, кто добьётся (у нас и все архивы в прикритости) — читает. (Примеч. 1996.)

фонда, да помогал ему сын, кончавший тот же университет. Не было ни людей, ни средств, ни места для научной обработки, каталогизации, аннотирования. Магеровский, выходящий изящный старичок, всё держал в памяти, среди тесных полок и по несколько архивных дел в одной коробке, — всё находил прелюбопытно, быстро, а ещё был властен не допускать коммунистически-подозрительных лиц — и не допускал. Архив скромно действовал — для эмиграции, для честных учёных. Таким я его застал летом 1975.

С тех пор, однако, произошла дурная история, и вполне в американском юридическом духе: Эйзенхауэра, Бахметева и Мозли давно нет в живых, никакого письменного соглашения с Колумбийским университетом не осталось, а джентльменское — держи карман! Здесь — признают только юридически закреплённые соглашения, от которых не отвертеться. В мае 1977 года бесконечно преданный делу и знающий Магеровский приказом по Колумбийскому университету был внезапно отстранён от архива (самым физическим образом устранён, без допуска) — архив перевезен в другое помещение и безраздельно передан университетской библиотеке. Поразительно! — университетские функционеры проглотили, присвоили русское духовное наследие — не собрав представителей эмиграции, пренебрегая завещаниями умерших вкладчиков, правами оставшихся живых, а ведь были надписи «секретно» или «вернуть по требованию».

А от кого ждал Магеровский помощи? От Романа Гуля, от «Нового Русского Слова» (Седых) да от меня. Так как в 1976 он водил меня к вице-ректору Колумбийского университета и директору «Русского института» при университете, и те тогда рассыпались, — я написал теперь требуемое письмо. На него получил от колумбийских джентльменов холодно отклоняющий ответ. И — всё.

Да, конечно, наше кровное русское дело, но разве сил на это постыжет? Сверх могуты и конь не скачет.

Не прошло и полугодя от ареста Гинзбурга — тут же по Фонду грянул второй удар, с неожиданной стороны — из Швейцарии. Ещё выстаивалась там обида от нашего скрытного отъезда — а тут появился на французском и немецком «Ленин в Цюрихе», и левая пресса стала разжигать, приписывая мне ленинское презрение к Швейцарии и его прямые высказывания (взятые мною из его текстов), вроде «республики лакеев». Взнялись на меня: «„Республика лакеев“ — как Солженицын после своего поспешного отъезда обругал издалика Швейцарию, давшую ему гостеприимство». Ах, советовали мне прежде Видмеры, чтоб я опубликовал «прощальное письмо» к Швейцарии, но я упустил, упустил... А вот теперь пришлось давать опровержение в «Нойе Цюрхер цайтунг». [22] Не знаю, много ли подействовало. Ленина они терпели, и все его подрывы простили ему. А вот мне — не прощают и литературы.

А тут — подвернулся новый громкий повод. Деньги за «Архипелаг» все годы изо всех стран поступали прямо на счета Фонда, не на мой, но никто не обратил внимания на неточность оформления гонорара из Штатов: «Харпер энд Роу» тоже переводил правильно, на счёт Фонда, но при этом на сопроводительном распоряжении секретарша или бухгалтерша подписывала — «Солженицыну» (вместо — «Фонду»). Теперь, спустя год, по обычному взаимоосведомлению, американские налоговые власти сообщили швейцарским, сколько было уплачено «Солженицыну» («Архипелаг» же, целиком отданный мною Фонду, приносил вчетверо больше гонораров, чем все вместе остальные мои книги). В цюрихском налоговом управлении ахнули — от негодования, сколько ж этот Солженицын не доплатил! В Швейцарии принято, чтобы государственные руководители не имели влияния на налоговое ведомство, чистота демократии. Но именно поэтому младшие чиновники приобретают большое самостоятельное значение. Когда пришла из Штатов эта ошибочная бумага — ещё и начальник налогового ведомства был в отпуску, а заменявший его чиновник Исаак Мейер поспешил дать делу быстрый — и нервный — ход. Какой? В их практике было посылать запросную бумагу: почему по такой-то сумме не уплачен налог, и дожидаться объяснения; и лишь при ответе неудовлетворительном — действовать. Однако чиновник двинул обвинение безо всякого запроса, без осуждения со мной.

Немедленно со мной поступили как с уголовным жуликом: прежде всего арестовали мой швейцарский счёт, затем объявили фантастическую цифру не-

доплаченных налогов, ещё и умножив её штрафом — до 4 миллионов швейцарских франков! Когда я эту цифру прочёл в пришедшем мне извещении — нарочито грязной копии и с крючком неразборчивой подписи, мне померещилось уже даже что-то смешное, как, бывало, смешны казались нам в момент объявления приговоров сроки в 15 и 25 лет, — а смешного ни там, ни здесь не было.

Вот когда ударил промах Хееба, его неквалифицированность, неготовность к крупным делам. От приезда в Швейцарию учредивши Фонд, вскоре утверждённый швейцарскими властями, я передал ему все гонорары от «Архипелага», отныне и навсегда вперёд. По моему поручению Хееб указал всем издательствам — и гонорары потекли, минуя меня, в Фонд, год за годом. Однако Хееб не надоумился и не сказал мне, что этого недостаточно, что для такой передачи гонораров надо ещё изготовить отдельный необратимый дарственный акт. Одна страничка — вот и всё, и тогда никакая ошибка никакой бухгалтерши нам бы не повредила. Но это всё мне объяснили потом, а в тот миг я ещё ничего не понимал, а только — обескураженность: как же так? ведь я ещё из Москвы объявил, что все средства от «Архипелага» отдаю на помощь заключённым, и так и сделал, и счёт Фонда отдельный, туда шлют прямо, не через меня, и Фонд всю работу, сотни семей получают из него помощь, — какое ж тут сомнение, и какое ещё нужно доказательство?! Нет, без дарственного акта 1974 года все деньги за «Архипелаг», перечисленные в Фонд, рассматриваются как мой личный доход и обкладываются налогом.

Это был июль 1977. Вязкое чувство, состояние растерянности: как же жить на Западе? Жернов КГБ никогда не уставал меня молотить, я привык, а тут вплотную к нему подблизился и стал подмалывать (и уже не первый раз) жернов западный. Как же жить? Во всех деловых, финансовых, организационных отношениях я на Западе то и дело попадаю впросак, в потери, неразбериху, так что минутами просто отчаяние берёт: я как будто утратил всякий рассудок, разучился действовать, поступаю только, что ни раз, неправильно. Насколько зорко ориентировался я на Востоке — настолько слепо на Западе. Как разобратся в этой сети правил и законов? (Не так же ли беспомощен и западный человек, впервые попадая в СССР?)

У меня сохранилась запись погорячу тех дней, когда это разразилось. Сейчас — настроение уже стёрлось, не восстановить, а вот — из той записи.

«...Унизительное, контуженное состояние — что я все эти годы был рохля и осёл, вопреки всем моим навыкам жестокого советского общества. И как же я так уверенно жил прежде, владея лишь копейками и рублями? То были не сотни тысяч, другие навыки, и всё помещалось в маленьком карманном кошельке. В череде разнообразных испытаний, которые посылала мне жизнь, вот пришло и ещё одно: испытание финансовой западной системой. И надо признаться, я выдерживаю его плохо: зачем-то это послано, но переживается трудно. Да шут бы с ним, как переживается, если б я мог освободить мысли и душу для работы. Вот это и унижает, что топит лужа, а не бурное море (впрочем, как и полагается). Да ведь я был твёрд и даже весел бывал в лагере, в тюрьмах, не сломился в раке, перенёс мучительное семейное испытание, переносил годы страхов, что провалится конспирация, — и всегда легко жил в нищете, привык к ней, приспособлен только к ней, а в условиях безбедственного достатка меня раздражает, что никто ничего не жалеет, разбрасывает, бессмысленно тратит, допускает портиться. Но с другой стороны достаток, освобождение на много лет от заработков для большой семьи, дали мне возможность удалиться от треклятых городов в тишину и чистоту, высвободить простор и время для главной работы. Откуда теперь брать 4 миллиона франков? Вспоминая: а мой бедный дедушка как мог пережить и что испытывал свои последние 12 лет после революции, когда не просто отняли кровно нажитое, но и само осмысленное дело жизни?»

Что ж, посылается мне ещё новое жизненное обучение. (Да каковы правила: с налогов более списывается деятельность коммерческая, а не творческая.

В Штатах мне посоветовали заявить, что моя текущая работа направлена не к написанию будущих книг, а к продаже старых, — тогда намного выгоднее, льготная шкала для налогов. Я отверг. Или: с налогов списывается «зарплата, уплаченная собственным детям», — то есть поощряется, чтобы дети помогали родителям не бескорыстно, а за деньги.) Пока я разлетался по вершинным проблемам — а швейцарские бюрократы преследуют меня как мелкого жулика.

Но мало того: документ с обвинительными цифрами против меня был скопирован кем-то из сотрудников и подан в цюрихскую социалистическую газету «Тагес анцайгер», которая с радостью и напечатала сенсацию: каков же вор Солженицын! Лучшей находки нельзя было придумать для всей левой европейской прессы (все кинулись перепечатывать сенсационно) — а уж в КГБ-то сколько радости! Вот уж — первая крупная мина против меня, которую не они подвели. (Но поддержали рьяно, нажали западные свои кнопки.) И поднялась новая свистопляска в швейцарской печати (опять вспоминали «республику лакеев» и моё «бегство»), но теперь и во всей немецкоязычной, да в датской, скандинавской, французской, итальянской. Теперь стало понятно — и почему Солженицын «поддерживал испанских фашистов», и почему нельзя верить «Архипелагу», и почему он не моральный авторитет, а в Швейцарии и сам Фонд вызвал вопросы: что за односторонние жертвы, всё советским преследуемым? а почему ничего не пожертвовано, например, нуждающимся швейцарским художникам и артистам? Туполобие ярилось, ему недоступно было поверить в этическую солидарность, в жертвенную помощь дальним соотечественникам.

Этот западный свист, видимо через «Немецкую волну», достиг и ушей в СССР — и бедные наши там поняли так, что арестован и подавлен на Западе Фонд, — знать, так далеко протянулась рука КГБ! Да как иначе это можно понять изнутри Советского Союза? кто ж у нас там вообразит такую лютую бессердечность западного юрицизма? И спешили наши загнанные, затиснутые преследуемые — и вообще-то еле живые — делать защитное заявление, что Фонд продолжает действовать, вот и в последнем году помог 707 семьям.

Вся картина будет ещё не полна, если не сопоставить, что эти швейцарские расследования и западное улюлюканье вокруг Фонда были в разгаре как раз к годовщине ареста Гинзбурга: уже год в СССР КГБ вело следствие по Фонду и набирало лжесвидетелей против него.

Славно, отлично мололи совместно Восточный и Западный жернова!

Жестокая эта суматоха растянулась в бурной стадии — на полгода, в кропотливой — дотянет ещё на полтора наверно. У меня же был первый год работы над «Мартом», напряжённый поиск формы его, определялась судьба всей книги — сперва, как я думал, двухтомной, потом — нет, трёхтомной, потом, нет: четырёх! И дать же всему зданию расти на моих плечах.

А верней — это я на нём рос, «Март» — возносил всё моё внимание и всю душевную отдачу.

На таких больших событийных пространствах, какие ожидалось в «Марте», — череда равномерно повествовательных глав может утомить читателя. Никак не возможно писать одним лишь старинным методом рассказа от автора — рельеф текста должен быть разнообразен, с поворотами, с неожиданностями.

Долго я искал: как правильно понять возможности каждого из вступающих, сами по себе, в «Колесо» жанров и как же осуществить их. Они рождались день ото дня в работе, в находках.

Киноэкраны, на которые я было размахнулся в первых волнениях февральских толп, оказались очень неэкономны в объёме, хоть покинь их вовсе. Так и намерился. Но наталкивался дальше на сцены, которые никак иначе не хотели изображаться, кроме как на экране, зримо в каждом движении: разгром «Астории», колотёё государственных гербов, убийство адмирала Непенина.

Трудоёмче всего была разработка глав фрагментных — с их неисчерпаемым богатством реальных случаев, с их возможностями строить цепочку сюжета, не выделив ни одного персонажа, — и на них же я учился закону новой сжатости.

Но ещё не больше ли открывалось в главах газетных — не только по незаменимости их прямой информации, а ещё ярче в передаче Воздуха Эпохи — как именно понимали или заблуждались современники, как им дышалось (и распадаясь на направления: интеллигентское, обывательское, крестьянское; буржуазное, социалистическое, большевицкое). И скольким, скольким поразительно не было ничего видно вперёд, даже на один день, — можно прийти в отчаянье. В главах повременных долгой передвижкой отдельных сообщений, через цепочку их, смежность, развитие или контраст, — открывался совсем не хаос, но тоже свой сюжет, мелодия, струящаяся меж газетных клочков.

А ещё: после мучительно грязного ощущения от газетного потока тех дней — находка: да вот, цветики этой лжи и собрать отдельными главками февральского новоказённого «фольклора», саморождаемой поэмой: «Февральская мифология», «Февральский образ выражения». (Несмыываемо яркие главки получились.) Или искажённые газетные изложения — ставить рядом с главами, как события шли в натуре.

А ещё сколько надо было пробираться между противоречивыми (особенно о датах и часах) показаниями свидетелей, в самых наитрудных случаях само исследование (вместе с читательским домыслием) превращая в главу.

В захват «Колеса» попадала вся Россия сразу — и вся в движении. И писать общей, короче — была бы не Революция, а лишь рецензия на Революцию.

Да, бишь: а со швейцарским скандалом же как?

На Западе известно: любое жизненное осложнение — значит, нужен адвокат. Но уж о Хеебе и речи, конечно, не было: Хееб и завязил меня в болоте. По совету Видмеров пригласил я нового адвоката — энергичного умницу Эриха Гайлера (они вместе когда-то служили в швейцарской армии), — да если б раньше я когда знал, что в Цюрихе есть такие орлы-адвокаты, не то что Хееб! Пригласил — потому что так полагается, не ездить же в Швейцарию самому, но не предполагал я, что слишком много достанется Гайлеру работы по доказательствам: ведь дело такое ясное, ведь совершенно чисто. О нет! О нет! Уж как вцепился налоговый паук — эта вязкая история длится вот уже больше года, и окончательного постановления всё нет. Хееб настолько ничего не оформил в начале, что теперь, чтобы не случились подобные неприятности в будущем, пришлось составить акт дарения от нынешнего числа, но уже не только гонораров, а самого «Архипелага», то есть авторского копирайта. То есть не оставалось выхода, как мне, писателю, лишиться права распоряжаться судьбой, изданиями своего собственного произведения: уже никогда я сам не имею права решить вопрос о печатании «Архипелага»: это может решить только Русский Общественный Фонд! Но и такой выход был лишь на впредь, в Америке или где я там буду жить, а Швейцарию он нисколько не удовлетворял: ведь я для них — «злостный неплательщик», и доказательства — что не я получатель тех гонораров, не я, а Фонд, и что пожертвовать весь доход за «Архипелаг» были мои намерения отначала, — доказательства потребовались столь разветвлённые и тонкие, что привлекли экспертом высшего цюрихского профессора права Мейера-Хайоза.

Доказательства должны были теперь углубиться назад по времени ещё до моей высылки. И хотя ещё в январе 1974 из Москвы, не думая ни о каких швейцарских налогах, я публично отдал все гонорары с «Архипелага» советским политзаключённым — этого недостаточно! И тогдашнее публичное заявление — не доказательство. В тот момент, когда я бился с КГБ насмерть, когда каждый исходящий документ грозил мне отсечением головы, — я должен был уже предусмотреть все будущие юридические сложности. Вот так проди-

рали бока вместе жернов Восточный и жернов Западный! Вот те наши тайные «левые» письма — на клочках, крохотным почерком и в иносказательных выражениях — должны были теперь чётко явить моё юридическое намерение. Запрос Бетте в Австрию, она копирует всю ту переписку и шлёт нам в Штаты, мы всё теперь пересматриваем, ищем, что-либо подходящее и достаточное. И теперь этим швейцарским преблагополучным налоговым чинам — надо терпеливо изъяснять ту нашу обстановку, как опасно было писать и особенно держать копии писем, и как жена должна была дожигать последние не отправленные в ночь моего ареста.

Но уже несколько успел с доказательствами адвокат Гайлер (привлекали к свидетельству и Бетту, всё ещё скрывающую имя своё от публичности), отчасти и пресса уже слишком перегадела, перебрала, — и в феврале 1978 цюрихские финансовые власти признали и дали газетное коммюнике, что со стороны Солженицына не было никакого злого умысла, а лишь могла быть ошибка, размеры которой продолжают выясняться. (Что всё произошло от ляпа своего же швейцарского адвоката — этого их корпорации признать было невмочь. Так они и прикрыли вину Хееба до самого конца, и самая солидная «Нойе Цюрхер цайтунг» — и та вычёркивала строчки, намекающие на Хееба. Гайлер указывал мне, что можно юридически возложить вину на Хееба и это сразу снимет с меня обвинения — но не по-нашенски это, не по-русски, начинать такой судебный процесс. Ведь Хееб не из корысти упустил, а по недомыслию.)

Пролежал у меня этот швейцарский скандал на сердце змеёю целый год, вот и больше. От злого осадка ко всей Швейцарии спасли меня, слава Богу, несколько благородных и трезвых голосов, вновь показывающих, что никакую страну нельзя судить огульно. Известный журналист Ульрих Кэги напечатал: «Прости их, Господи, не ведают, что творят». (Позже он устроил в Цюрихе пресс-конференцию о Фонде.) И ещё несколько газет отозвались сочувственно. Профессор Хильдрик Кёльблинг в «Базлер цайтунг»: «Александр Солженицын сделал для свободы несравненно больше, чем все мы». Доктор медицины Хайнц Каррер писал моему адвокату Гайлеру: «Этими мерами и Цюрих, и вся Швейцария делают себя смешными. Становится стыдно быть швейцарцем». Профессор Мейер-Хайоз из уважения к «Архипелагу» великодушно и демонстративно отказался взять гонорар за свою трудоёмкую тонкую экспертизу\*.

А против покражи информации из налогового ведомства было возбуждено расследование, со швейцарской неспешностью длилось полгода. Велено было «Тагес анцайгеру» назвать источник её в налоговом ведомстве — но газета благородно возмутилась этим посягательством на незыблемую свободу прессы, которая выше всякого суда!

Однако как ни сердись, а приходится поклониться Швейцарии с благодарностью: всё же нигде в мире не было б нам так легко создать благотворительный Фонд и открыть поток денег на родину. Нет, Швейцария — ещё благоденствие. Промежуточная наша остановка в ней уже тем и оправдалась, что создали Русский Фонд. Как он уже работает и сколько ещё поработает для России.

А замечаю я, как за эти заграничные годы уже притерпелся, что меня со всех сторон не поддерживают, а лишь ранят и теснят. Если не до самой высылки, то по крайней мере до появления «Августа» в 1971 радостной лёгкостью моей было то, что, кроме государства, у меня как будто не было врагов, ни одного личного врага, все кругом как будто друзья. И я удивлялся: да почему у всех всегда бывали враги, завистники, а я и понятия такого не знаю? А просто — держала меня общественная волна, а кто и возникал враг (кого моё открытое высказывание правды ставило в неловкое положение угодников власти), тот — вынужденно сдерживался.

---

\* Тяжба грозила затянуться ещё и на второй полный год, но Гайлер настаивал на решении — и через 19 месяцев дело кончилось признанием полной моей невиновности и было закрыто. (Примеч. 1982.)

От «Письма вождям» снят был общественный самозапрет ругать меня или искать на мне, и вдруг — зазвучали, зазвучали негодующие голоса. Одни — по убеждённости: как? Солженицын — *изменил демократии*? Да как можно ждать чего-либо другого, кроме *немедленного* перехода к демократии?? (Я писал: *переходный* период авторитарной власти, чтобы не разгрохать всеобщую жизнь разом, — и не услыхали доводов даже, но: «авторитарист»!) Другие — теперь могли дать волю своим накопленным прежним личным зложелательствам, и уже удивительно стало, что совсем недавно они ходили в моих сторонниках. (И уж конечно в эту громкость влились и советские агенты влияния: не упустить пристукнуть недобитого.) От волны враждебных рецензий на «Письмо вождям» множились уже целые сборники (я их и не читал) против наших «Изпод глыб», третьэмигрантские газетные статьи и выпады, а больше — враждебные слухи и низкие сплетни, в центре которых, нельзя не отметить, стоял многоусердный Синявский: он как будто потерял способность говорить с кем-либо о чём-либо, не сводя на гадкого Солженицына, душевно заболел мною. Из разных мест доносился до нас глумливый хохоток эссеиста. (И чего только не несли на меня супруги Синявские! кроме «тоталитариста», «теократа» и «вождя русских фашистов», в последний год ещё: что высылка моя — спектакль, по совместному с ГБ сценарию; и что якобы Гинзбург хотел бросить Фонд и эмигрировать, а я его «заставил остаться и сесть в тюрьму».)

Западная образованщина и по-своему спохватилась, что со мной надо бороться, — а теперь от публицистов Третьей эмиграции перенимала и личные импульсы. И вот уже, куда ни оглянись, со всех сторон лихостились мои противники, а друзья далеки или притихли.

А с крайне правого фланга эмиграции то «Нива» печатала фальшивую фотографию «Солженицын у гроба Сталина» (чей-то коллаж из фотографии моей у гроба Твардовского) — и комментарий всерьёз: а? так ещё в 1953 его допустили до Гроба, ясно, что и с тех пор он — советский агент! И польский писатель эмигрант Ю. Мацкевич пустил легенду, будто советские власти благосклонно разрешили мне беспреступный вывоз архивов (не мог же я в те годы напечатать, как и кто помог тайно вывезти архив!), — а значит я им союзник, и вот моя критика Запада ослабляет его и играет на руку большевикам. Как раз тут подоспела и Ольга Карлайл со своей ядовитой книжкой против меня.

За море, по еловы шишки.

Тем более проявились задетые, как Жорес Медведев, — обиженный и резкими моими письмами ещё из Союза, и как я выступил против него в защиту Сахарова в 1974. При его повадке и при западных льготных к тому обстоятельствах — то и дело склонялось, чтоб он подал на меня в суд. Удержался в 1974 (вероятно, только из-за моей шумной популярности тогда, да ещё и ценя звание моего старого друга, что помогло ему в Англии, а в письмах мне — уже тогда угрожал судом). И вот в июне 1978 прислал в английский «Коллинз», издававший «Архипелаг», и моему представителю Дюрану в Париж зреющее судом письмо. Ж. Медведев объявлял себя издателем и представителем интересов 88-летнего М. П. Якубовича, видного бывшего меньшевика, живущего, после многих лагерных лет, в бесправном инвалидном доме под Карагандой. Этот несчастный старик, вынужденно или по своему позыву, в 1974 выступил против «Архипелага» — написал статью для советского АПН, затем снялся и в специальном телефильме. Никогда не читал я той статьи, не доходил до меня и тот фильм, — не знаю, решилась ли советская власть его где-либо демонстрировать, не у себя же в стране, где об «Архипелаге» и знать не должны. Можно было предполагать, что Якубовича многое не устроило в моём архипелажном разборе социалистов, в идеях книги, но что у него могут быть личные претензии — никак я не думал.

О нём, участнике процесса «Союзного бюро меньшевиков» в 1931, я слышал ещё в моей коктерекской ссылке, от сидевшего с ним в лагере друга моего Н. И. Зубова; яркие черты: пылкость не по возрасту, политическая неугасшая страсть и увлечённый дилетантизм в русской истории. С тем большим интересом я встретился с Якубовичем в конце 50-х годов в Москве на частной квартире тоже бывших эзков. Несколько часов рассказывал он мне, особенно о своём знаменитом судебном процессе. Как и за всеми своими 227 рассказчиками, я записывал тут же — и позже воспроизвёл в книге.

А ныне, после того как разошёлся на всех языках в миллионах экземпляров первый том «Архипелага», в рецензиях на который и Рой Медведев ничего о Якубовиче не возражал, — писал его братец, что Якубович уже четыре года как поручил братьям Медведевым защитить себя и истину, но братцы воздерживались, шадя эффект «Архипелага». И вот теперь Жорес прислал как бы макет для рассылки издательствам с заголовком «Дело о клевете, конфиденциально»: Якубович считает клеветническим и намеренно ложным моё описание его следствия в 1930 — 31 годах. Что оно противоречит «научному» описанию в книге Р. Медведева (вышедшей после «Архипелага») и собственному реабилитационному заявлению Якубовича, которое ходило в самиздате, и вот, дескать, я извращённо его использовал. (А я никогда не видел его заявления, и партийной книги Роя тоже не читал, я — записал с рассказа Якубовича, что его — не сломали, а поддержка советской власти — был принципиальный взгляд его. Большевиков он поддерживал в своей жизни не раз, и даже сотрудничал в их продовольственных органах в гражданскую войну.)

Ж. Медведев теперь требовал: изменить эти две страницы в последующих изданиях «Архипелага», а пока, поскольку он «считает аморальным зарабатывать на клевете», — уплатить ему не ту огромную компенсацию, которую присудит английский суд, «если дело будет передано в руки профессиональных юристов» и они будут «свободно ставить свои условия», но всего лишь пропорциональную часть от мировых гонораров «Архипелага» за эти две страницы. Что он, Ж. М., «старается найти решение без шума и огласки», если же мы будем сопротивляться и тянуть, то «наступит широкая гласность», а у него, Ж. М., хранятся в сейфе написанные Якубовичем письма в одном экземпляре, «в них обсуждаются гораздо более широкие аспекты „Архипелага“ и его автора, чем этот один отдельный эпизод, но я обещаю их уничтожить... если мы дойдём до соглашения без особых задержек». (Какое ж он право себе давал так распорядиться волей бедного старика! — лишь бы получить деньги?)

Кажется, это было первое впускание юридического когтя — в «Архипелаг», не постеснялись Медведевы. Но чувствовалась и слабость в их шантаже — боязнь публичности. Да может быть Якубович и не знает ничего в своей карагандинской глуши. А уж «публиковать» и тем более нечего, АПН давно Якубовича использовало.

Дюран твёрдо написал Ж. Медведеву, что в «Архипелаге» помещён не официальный документ Якубовича, а его устный рассказ, и это ясно говорится в тексте. Указывал Жоресу его юридически уязвимые промахи в письме; требовал копию полномочия от Якубовича, и доказательства, что Якубович в своих действиях свободен от давления властей. А по поводу денежных требований Жореса кончал великолепной французской фразой: «На Западе существует обычай, в силу которого не смешивают вопросы чести с соображениями такого рода».

И Жорес — пока притих. Суд против «Архипелага» не возник. (Да братцы за эти годы ещё отметились: Жорес в Соединённых Штатах выгораживал практику принудительного психиатрического лечения в СССР — это он-то, недавний узник психушки! — а Рой в СССР марал сидящего под следствием Александра Гинзбурга.)

Ходатайство своё за Якубовича Ж. Медведев объяснял и тем, что стал издателем (и будет издавать также Якубовича). Братцы порывались к тому давно. Когда в конце 60-х годов самиздат сам проложил себе жизненный путь, Р. Медведев вдруг объявил, что ещё несколько лет назад он выпускал журнал «Политический дневник» (никто его никогда в самиздате не видел, может быть выпускали в узкой группе «идейных коммунистов» одну машинописную закладку и тут же прятали по надёжным шкафам), — и вот с опозданием в несколько лет предложил знакомым западным корреспондентам «избранные номера за предыдущие годы». Корреспонденты клюнули всерьёз — и Запад был удачно мистифицирован в «истинно-коммунистическом духе», — среди советских инакомыслящих им особенно дороги социалисты. (Очень высока стала популярность Роя у западных журналистов. «Гардиан» даже открыл «этические реальности Р. Медведева» и противопоставлял их «высокопарности „Из-под глыб“».)

Году в 1975 Рой надумал и взаправду выпускать самиздатский журнал «XX век», но после первого же номера его вызвали в ЦК и запретили. Жалко! Но братцы затеяли новую мистификацию: «XX век» стал выпускать в Лондоне Жорес и утверждать, что этот журнал широко ходит в самиздате, чего никто из Москвы нам не подтверждал.

И вот в № 2, с выходной пометкой «Лондон 1977», напечатана была статья близкого братьям Медведевым В. Лакшина против меня — предлинная, как он всегда пишет, 70 страниц. «Замечательный очерк», предваряет редакция, «одного из лучших литературных критиков русской литературы, блестящего пуб-

лициста и историка литературы». Захвалено высоко, однако по нынешнему безлюдью Лакшин — критик, конечно, заметный, хотя с годами всё более зауряднеет и после «Нового мира» мало чем отличился от казённого приспособленца, стал в фаворе у властей.

Но какая смелость! — до сих пор столь лояльный, Лакшин решил печататься прямо на Западе?\*

Не ждал я там дружественного и не нашёл, а прочёл не только с пользой для себя, но даже с каким-то внутренним удовлетворением. Есть равновесность: выйдя из пыла боя, поправиться, где был неправ, не в том кого-то упрекнул, истолковал не так.

Лакшин, очевидно, прав, коря меня, что о внутренней обстановке «Нового мира» я судил по слишком беглым своим, всегда на лету, впечатлениям. Допускаю, что я весьма неполно вник в соотношение «первого» и «второго» этажей. Я рад, что он меня поправил. Да наверное об этом выскажутся потом ещё другие свидетели. И конечно он прав, что я не открыл всего доброго, что можно было ещё сказать о Твардовском: при захваченности моей рукопашной с властями я был в позиции, мало удобной для спокойных наблюдений. Да, конечно, я давал простор нетерпеливым, а иногда и несправедливым оценкам боя. Так, в горячности и отчаянии, я был совершенно неправ, упрекая Александра Трифоновича, что он не взял в редакцию уцелевшего после провала экземпляра «Круга Первого»: после моих же ошибок не должен он был ставить журнал под удар новым взятием на хранение уже арестованного романа. И не мог «Новый мир» устанавливать печатанием «следующие классы смелости» — разве только когда обманув цензуру (они это и делали), а вся сила решений была не в их руках. Снимаю и своё предположение, что Твардовский в дни разгрома должен был собрать для совета весь состав редакции, — ему было видней. И в эти дни разгона — какого высшего уровня смелости я хочу от руководства «Нового мира»? Чтó они могли сделать — не независимые издатели, а государственные служащие? Только — дать самиздатское заявление, что мне казалось тогда единственно желанным и действенным. Но ни Твардовскому, ни другим членам редакции это было не по ритму, не по навыку, совсем невозможно. Это украсило бы их падение, да, — но не изменило бы обстановку. А когда им навязывали в редакцию А. Овчаренку, клявшего А. Т. «кулацким поэтом», — как же мог Твардовский оставаться? Ну да это я и тогда же признал. (А ещё — Лакшин мне того не припоминает, но сам я теперь осознал, повинюсь: в «Телёнке» я упрекнул А. Т. за парижское интервью «Монду» осенью 1965, что он не дал ни малого намёка, в какой я опасности, а моё провальное молчание объяснил моей скромностью. Да, очень много я от него хотел. Вот и сам я, год спустя, в интервью Комото — ведь не решился же прямо выложить, что мне голову откручивают. Тут нашу всеобщую подгнётность — о, её помнить надо!)

Однако дальше-больше Лакшин подложничает едва не в каждой фразе. Пишет обо мне: «домогался доверительности А. Т.» (зачем же? такого стиля не было у нас, а — взаимное свободное расположение); «каяться должны все, кроме него» (да кто же публично каялся больше меня?); совсем несуразное обвинение, что я «печатался бы у Косолапова [заменившего А. Т. на редакторстве в «Новом мире»] не с меньшей охотой, чем у Твардовского», — не мог я такого бреда даже обсуждать, хотя бы потому, что я давно ушёл со всех путей советского печатанья, и не искал возврата. А вот если верхушка «Нового мира» покорила разгону лояльно, не проявила бунта, — почему они ждали и

---

\* Выехавший на Запад Б. Г. Закс, бывший ответственный секретарь «Нового мира», в письме ко мне от 30.7.84 передаёт историю этой публикации «со слов Лакшина»: вскоре после выхода «Телёнка» его дважды вызывал секретарь Союза писателей Верченко, дал ему книгу надолго и требовал написать публичный на Западе ответ, а «мы ведь не только в коммунистической печати поместить можем, но и в буржуазной». — Пишет Закс и: Валентина Твардовская свою статью против «Телёнка» согласовала в ЦК, потом отдали в «Униту». (Примеч. 1986.)

требовали бунта от рядовых работников аппарата («уходить» — где ж те работу найдут?), от печатаемых авторов («забирать рукописи» — куда?). Равновеснее будет признать, что все поступили по каторжной связанности советскими условиями — и не могли поступить иначе. Так же и сам Лакшин без промедления пошёл на предложенный ему казённо-литературный пост, который кормит его и даёт положение — достаточно крепкое, чтобы наконец вот бесстрашно выступить против заклеянного «отщепенца и врага народа» Солженицына; и даже, для Запада, будет выглядеть теперь смелым инакомыслящим.

Составлять текст ему надо было так, чтоб и выразить мысль в уровень свободного читателя, и не перейти лояльных советских границ и своего членства в коммунистической партии. Кое-что можно отнести за счёт этого балансирования, как: Солженицын «обречён... очень ошибочно, лишь по отношению к себе и к своим ближайшим обстоятельствам, оценивать общие социальные перспективы», — это пишется после «Архипелага!» Сам «Архипелаг» и называть нельзя, и не назвать же нельзя, торчит. Но оценку дать ему достойно-партийную: «...преувеличения ненависти. Пока история не найдёт более объективных летописцев... пристрастный суд Солженицына останется в силе». Увы, увы, останется. (Да наверное в группе Роя Медведева уже всю ту Историю и переписывают.)

Однако в этой статье у Лакшина проступает и истинный его уровень, и искренние убеждения — и они не веселят. Станный вопрос задаёт критик писателю: какова его цель? — вот и с напечатанием «Архипелага». Восстановить память народа в её ужасных провалах — это, оказывается, не цель литературы, критик требует от меня «позитивной политической программы». А «Новый мир» был «ростком социалистической демократии». «Мы верили в социализм как в благородную идею справедливости». Моё «Раскаяние и самоограничение» его «насмешило» (?). И, напротив, настолько обронил вкус к иронии, что доказывает «неправильность» подзаголовка «Очерки литературной жизни». А уж «„Вехи“ — ущербная книга». Но самое жуткое: «всякая крупная идея может быть искажена в исторической практике... Виной ли тому „дурная природа“ людей, генетическая незрелость рода [так надо было Марксу раньше голову иметь! — А. С.], неподготовленность нравственного сознания... или скверная изгаженная почва предшествующих социальных традиций». Так! вали на Россию-матушку! «А может, все беды и неудачи нашей страны оттого как раз, что социализм понят по-старому, по-монархически...» И вот коммунизм очищен! — это монархисты во всём виноваты!..

Вот эти «вершинные» суждения Лакшина и показывают рельефно, насколько невозможно было между нами понимание. (И на мои страницы о нём в «Телёнке» ни словом теперь Лакшин не отзывается. Трудно ответить? Но и вряд ли я тогда ошибся.)

Однако хуже. Лакшин систематически искажает цитаты из «Телёнка» — либо усечением, либо недобросовестным истолкованием. Вот несколько примеров, выделяю курсивом отрезанное Лакшиным\*.

О Твардовском: «...какими непостоянными, периодически-слабеющими руками вёлся „Новый мир“... — оборвано: *и с каким вбирающим огромным сердцем*» («Телёнок», стр. 98; Лакшин, стр. 338, 342). Два раза он приводит эту цитату и оба раза обрывает! — уж никак не случайно. «*Не сразу я усвоил и воспитался, что и к дружественному „Новому миру“ надо относиться с обычной противоначалнической хитростью*» (88; 356). — «*А сдержанней всех и даже по-*

---

\* В 1994 эта статья Лакшина перепечатана в его книге «Берега культуры» (М., «МИРОС»). Для удобства читателей наряду с упоминаемыми страницами «Телёнка» (даваемыми по М., «Согласие», 1996) — страницы из Лакшина здесь даю по его новейшему изданию. Однако возникает ещё трудность: в новой перепечатке Лакшина изменён его исходный текст 1977: из прежнего текста убран большой неприязненный абзац об А. С. Берзер («амбиции её были велики», «она не испытывала брезгливости к двойной игре» и т. д.) и часть перешеденной брани обо мне. (Примеч. 1996.)

чти мрачен сидел я. Эту роль я себе назначил, *ожидая, что вот сейчас начнут выламывать кости*» (28; 356), — всё неудобное Лакшин отсекает. У меня: описывается яростное моё выступление в Институте Востоковедения, где я публично обличал КГБ и зал внятно опьянел от свободы, и затем фраза: «Кажется, первый раз, — первый раз в своей жизни я чувствую, я вижу, как делаю историю» (154). У Лакшина — это пример, как я «любуюсь в литературном зеркале»: «я вижу, как делаю историю» (355); без моего контекста фраза становится напыщенной, что Лакшину и надо. У меня — в откровенно потешном стиле описан «бой» на Секретариате, и как против сорока присутствующих я умудряюсь получить слово, и пугая секретарей Союза писателей: «голосом, декламирующим в историю, грянул им» (183). Лакшин повторяет заковыченное без контекста, без обстановки на том совещании, и: «так в литературных мемуарах о себе, кажется, ещё не писали» (355). Я пишу, что «в плохое всегда верю легче, с готовностью», — в смысле худых обстоятельств, худого исхода, — он извращает смысл: легче верю, что люди дурны. Или: Солженицын «просил посодетствовать встретиться с Твардовским», «устроить что-то, что ему было нужно» (357), — и прячется, хотя знает: «что́ было ему нужно» — это чтобы Твардовский поехал ко мне читать «Архипелаг». А Лакшин лишил его этой возможности, Твардовский так и умер, не прочтя. Я пишу (267), что рак — это следствие обиды, подавления, — Лакшин переиначивает (371): «следствие малодушия». — И нисколько не «жалостным призывом», а вспышкой умной души звучит у меня улыбочная реплика Твардовского: «Да вы освободите меня от марксизма-ленинизма» (241; 350).

Всю статью Лакшин имитирует скрупулёзность — он указывает номера страниц «Телёнка». Но когда появляется необходимость передёрнуть посылней, он вдруг именно в этом месте «случайно» не указывает страницы. Это — моя 252: «Прощался я от наперсного разговора — а за голенищем-то нож», — и Лакшин цитирует в этих пределах и раздражается судом: «вот так, с ножом за голенищем, оказывается, и разговаривал автор „Ивана Денисовича“ со своим крестным отцом... „двойничествовал“ без видимой причины» (357). А читатель — где будет проверять (редкому москвичу книга попадёт, и то на неполные сутки): что «нож за голенищем» — это разгромное моё обращение к секретариату СП, которое показать Твардовскому никак нельзя, он будет удерживать от борьбы.

Вот с такою честностью ведёт Лакшин дискуссию. Уж тогда тем более легко ему судить (там — цитировать нечего), что Солженицын «умело организовал своё появление» подле гроба А. Т., — в самом деле, умело: просто пришёл в ЦДЛ, барбосы легко могли и не пропустить, не член Союза.

А уж начать мухлевать — так дальше не оглядываться. Выгодно Лакшину обругать мои «Американские речи» — то без усилия повторяет он самые грязные клеветы советской пропаганды, будто призывал я американцев: «никакой продажи зерна», «пусть не будет хлеба, пусть голод и война», «не воюет ли он уже с многомиллионным народом, населяющим эту страну?» — и никаких подтверждающих ссылок, конечно, потому что лжёт, не жмуясь.

«Не дворянское это дело», — манерно присваивает Лакшин былую притказку Твардовского обо всяком непорядочном поступке (а «дворянское» — подделывать цитаты?). Но отписавши полсотни страниц, наш критик спохватывается, что не успеет отделать этого Солженицына по заслугам, и лепит почти уже сплошь: «наивно хвастлив... самоуверен и слеп... надут и смешон... удерживаюсь, чтоб не смеяться над ним... впитал яды сталинизма... бесплодное самоупоение ненавистью и гордыней... Злоба, нетерпимость, самообожание переливают через край... ненасытимая гордыня... фанатическая нетерпимость (к коммунизму, в «Архипелаге»)... жадно ловя мерцающий свет популярности... смешное безумие, амбициозный бред... ощутил себя человекобогом... годами лгал... злой бес разрушения... волчьё одиночество... лагерный микроб... лагерный волк» — и обиняком: «гений зла... дюжинный прохвост... мародёр».

Вряд ли эта работа станет украшением избранного тома статей Лакшина.

Однако и задумываюсь теперь: как я уверенно судил ещё пять лет назад о несомненных преимуществах самиздата перед подсоветской официальной литературой, и даже «Хроника текущих событий» мне казалась значительней, чем достижения «Нового мира». Но вот теперь «на воле», на Западе, уже выходит полдюжины *свободных* журналов на русском языке — и, кажется, никто ж им не мешает достичь высокого уровня, никто их не давит, — а отчего ж они не растут? Ни один из этих претенциозных журналов не может и приблизиться к культурному и эстетическому уровню тогдашнего «Нового мира» — а ведь тот был перепутан и разможён цензурным гнѐтом. Никто из этих не возвысился к спокойному, достойному, глубокому обсуждению, как умудрялся «Новый мир» в своих жѐстких рамках, закованный. И сколько национально-народного всё же прорывалось в «Новом мире» — этого в журналах Третьей эмиграции начисто не найдѐшь, в них — бесконечная даль от жизненных русских проблем, и это ещё в лучшем случае. В последние мои советские годы, увлечѐнный горячкой борьбы с режимом, я переоценивал самиздат, как и диссидентство: переклонился счесть его коренным руслом общественной мысли и деятельности, — а это оказалось поверхностный отток, не связанный с глыбинной жизнью страны. Имея каналы на Запад, диссиденты наполняли их больше сведениями своей среды, а не общенародными. В те годы, в штурме на власть — нет врагов, кроме коммунистического режима! — мы все казались частицами единого потока, — нерасчленѐнность исторического сознания. Я переоценивал свою близость к «демдвижу»; в этой оценке вилось и наследство дореволюционной «освобожденческой» идеологии, от которой я тогда ещё сильно не был свободен. Да диссиденты вели себя как отважные жертвенные люди, без потайки и корысти. Я от души восхищался ими, особенно, конечно, выходом на Красную площадь в 1968, против оккупации Чехословакии.

А на самом деле — мы были разных корней, выражали разные стремления, лишь совпали по месту и годам действия. Моя линия начиналась куда-куда раньше по времени, чем их линия, и вперѐд протягивалось моѐ упорство против большевиков — не на такой слом и не на такие шуточки, как «выполняйте вашу конституцию!». (Но даже кто и не желая развалить сам коммунизм — диссиденты отлично пошатали его авторитет.) Наше различие вполне проявилось и нам и им, начиная с «Из-под глыб» и «России-суки» Синявского. XX съезд партии они держали своим знаменем, всегда были неотзывчивы к бедам русской деревни, тем более к гонениям православия. С ходом коротких лет диссидентство быстро истощалось, а открылась им эмиграция — и диссидентское движение, не захваченное вопросами национального бытия, оказалось сходящею пеной. На соблазне эмиграции диссидентство поскользнулось и кончило своё существование. Один их идеолог, Чалидзе, так и объяснил, эмигрируя, что «просто устал» защищать права человека. (Потом, за океаном, набрался сил защищать уже всемирные.) Другой, Амальрик, подвѐл теорию: «Эмиграция — тактический ход в борьбе за изменение своей страны», «политическая эмиграция всегда предшествовала революции». И так ещё придумали: «Сейчас быть патриотом — значит уехать». Многим диссидентам только угрожали, что посадят, только лишили привилегированной работы (чѐрной-то не отнимали) — и они потянулись в «изгнание». А другие и вовсе без угрозы. И на Западе величали их всех *изгнанниками*.

Ещё с ранних писем, хлынувших в Цюрих, письма Третьей, современной, эмиграции как-то сразу отличались своим коротким дыханием — от устойчиво-протяжѐнной выдержки Первой и Второй. В Москве я не только не испытывал к отъезжающим никакого недоброжелательства, напротив, из ненависти к коммунистическому режиму, мною, как и многими, побеги Анатолия Кузнецова и Белинкова воспринимались чуть ли не героическими. (Хотя и тогда различали бестактность Белинкова, как он в своих радиорекомендациях из-за границы призвал швырять членские билеты Союза писателей. И Н. А. Струве писал мне ещё в Москву, как поражѐн был встречей с ним: Белинков пытался

ему доказать, что уже Пушкин не любил свободы, настолько рабская Россия. «Новым эмигрантам — России уже не жалко», — с сокрушением писал Н. А.) А на Западе — сразу, с первых этих писем — чётко: э, нет, я не ваш! э, нет, простите, я не эмигрант, и во всяком случае не *третий*. И, отделяя от других эмиграций, завёл для Третьей папку писем отдельную. Ещё я не предвидел ожесточённости их скорых нападков на меня — но инстинктивно отстранялся. Очень меня покорила в марте же 1974 в «Вестнике» статья, подписанная «Х. У.» (потом оказался — Шрагин), предлагавшая православному журналу отказаться от православия, которое «не заслужило доверия интеллигенции», — я немедленно ответил\*, сразу почувствовав тут весь корень надменной чужести.

Насколько уважал я Первую эмиграцию — не всю сплошь, конечно, а именно *белую*, ту, которая не бежала, не спасалась, а билась за лучшую долю России и отступила с боями. Насколько я просто и хорошо чувствовал себя со Второй — моим поколением, сёстрами и братьями моих тюремных односельцев, несчастными советскими измученниками, по случайности вырвавшимися на волю задолго до гибели советского режима, всего лишь после четверти века рабства и потом изнывавшими на скудных беглянских путях. Насколько безразличен я был к той массе Третьей эмиграции, кто ускользнул совсем не из-под смерти и не от тюремного срока — но поехал для жизни более устроенной и привлекательной (хотя и позади были у множества привилегированные сытые столицы, полученное высшее образование и нерядовые служебные места). Что ж, они воспользовались естественным правом каждого бы человека — уехать оттуда, где не хочешь жить, да штука в том, что не все, ой не все советские такую избранную возможность имели. Да пусть. В укор им можно было поставить разве то, что для выезда использовали имя государства Израиль, а поехали вовсе не туда. Мне пришлось о них высказаться тогда же\*\*. В их ряду протекли, правда, и посидевшие в лагерях, психушках, но это были считанные, всем известные единицы. Однако в их же ряду проехало и немалое число таких, отборных, кто активно послужил и в аппарате советской лжи (а ложь простиралась куда широко: и на массовые песни, и на кинематографию), потрудились в дружбе с этим аппаратом, — как бы назвать эту эмиграцию? — *пишущей*. Но главное: теперь с Запада, с приволья, они тут же обернулись — судить и просвещать эту покинутую ими, злополучную, бесполезную страну, направлять и отсюда российскую жизнь.

А Запад встречал Третью не так, как первые две: те были приняты как досадное реакционное множество, почему-то не желающее делить светлые идеалы социализма, те приняты были изнехотя, недружелюбно, образованные люди пошли чернорабочими, таксёрами, обслугой, в лучшем случае заводили себе крохотный бизнес. Эту — Запад приветствовал, материально поддерживал и чуть ли не воспевал («отдали свою жизнь ради достойного поведения»), в их отъезде (изнутри СССР видимом как самоспасительное бегство) Запад видел «проявление русского достоинства». Эти — часто с сомнительным (пробольшевичным) гуманитарным образованием — почётно принимались как профессора университетов, допускались на виднейшие места западной прессы, со всех сторон финансировались поддерживающими организациями — и уж тем более свободно захватывали поле эмигрантской прессы, и русскоязычное радио, отталкивая оставшихся там стариков. К сегодняшнему дню напряжённость и неприязнь между ними и их предшественниками необратимо обострена.

Но тут следует и очнуться: таковы ли бывают в эмиграциях стычки и ненависть? да так ли жгло обидами, взаимными обвинениями внутри Первой эмиграции, обнимавшей растерянное множество изгнанников от великих князей, митрополитов, генералов — через всю кадетско-интеллигентскую толпу — и до Керенского, Бурцева и эсеровских террористов? Им-то, сразу после сокрушительного поражения и деля его ошибки, приходилось куда раскалён-

\* «Публицистика», т. 2, стр. 75.

\*\* Там же, стр. 99 — 101.

ней и столкновённой (только они всегда выдерживали приличный тон дискуссий, а пишущая Третья сразу позволила себе и ругательно-площадной). А наши сегодняшние разногласия — хоть не в дележе совершённых нами ошибок, а в спорах о русском будущем\*.

Особняком стоял непримиримый Владимир Буковский: он боролся отчаянно и был воистину выслан (обмен, без спроса его, на лидера чилийских коммунистов). Он представлялся мне подлинным национальным героем: вот, занят совсем не «правом на эмиграцию», но коренною жизнью страны, бесстрашный, самоотверженный, умный, молодой, — вот из таких борцов вырастут будущие политические кадры России, да может сам он и есть будущий премьер-министр — если выживет? Минутами казалось: его замучат и загнут. И вдруг — он уже в Швейцарии! Мы тотчас с ним связались. Затем, едучи в Штаты, он написал, что непременно хочет увидеться, — и я пригласил его заехать в Вермонт, полтора суток он у нас пробыл. Да, человек чести, с упорным азартом борьбы и подлинным мужеством, политическое быстрое соображение, находчивость в выступлениях. Он сочувствует и готов помогать отдельным схваченным, придавленным. Но всей глубины русской боли, нашего падения, оскудения, жажды народного выздоровления — этого не проявилось мне в нём.

А ведь он в Третьей эмиграции — из лучших, и умнейших.

А тогда — на кого ж мы надеемся? В каких же, ещё следующих, поколениях мы дождёмся тех родных рук? Ещё когда же Россия сможет родить их и выдвинуть? Какие же вожди ждут нас после коммунистов?

Все, все исторические сроки оттягиваются — сравнительно с моей постоянной нетерпеливой погонкой.

И вполне бы тут, на Западе, в отчаяние прийти, если б не своя работа. Горы работы — на годы и годы. Надо сперва самому исполнить — а потом уже требовать от Истории.

А сыновья — подрастают. Тёплые полгода, с апреля по октябрь, живу внизу, в прудовом домике, — и рано утром они, цепочкой, друг за другом, по крутой тропе, сквозь величественный храмовый лес спускаются ко мне молиться. Между порослями становимся коленями на хвойные иглы, они повторяют за мной краткие молитвы и нашу особую, составленную мной: «Приведи нас, Господи, дожить во здравьи, в силе и светлом уме до дня того, когда Ты откроешь нам вернуться в нашу родную Россию и потрудиться, и самих себя положить для её выздоровления и расцвета». А в нескольких шагах позади нас камень-Конь, очень похож, ноги поджал под себя, заколдованный крылатый Конь, ребята мне верят: ночами слегка дышит, а когда Россия воспрянет — он расколдуется, полностью вздохнёт и понесёт нас на себе по воздуху, через Север, прямо в Россию... (Ложась спать, мальчики просят: а ты ночью пойдй проверить — дышит?)

Несколько раз в день прибегает ко мне кто-нибудь из них, топя с горы, приносит от мамы очередных несколько страниц набора с её редакторскими предложениями. Спустя время — другой сын, забрать результат.

А вот, затеваю я с двумя старшими и занятия по математике. (Просмотрел новейшие советские учебники — не приемлет душа, не то, не чутки к детскому восприятию. И учу сыновей — привезла Аля из России — по тем книгам, что и сам учился, и наши отцы.) Есть у нас и доска, прибитая к стенке домика, мел, ежедневные тетради и контрольные работы, всё, что полагается. Вот не думал, что ещё раз в жизни, но это уж последний, придётся преподавать

---

\* Так я думал. Но иные из третьеземigrants с большой откровенностью высказывались, а теперь даже и публикуют: что борьба их на печатных полях Европы и Штатов и в эфирном пространстве шла совсем не об идеях, а о хорошо оплачиваемых, но не слишком многочисленных местах. За них и боролись, выдвигая перед «шефами» идеи и черня соперников. (Примеч. 1982.)

математику. А — сладко. Какая прелесть — и наши традиционные арифметические задачи, развивающие логику вопросов, а дальше грядёт кристалльная киселёвская «Геометрия».

После урока сразу — купанье. В пруду, он местами мелок, местами очень глубокий, учу их плавать и страшую. Вода проточная, горная, очень холодная. Старшие рвутся: «Папа, а можно — до водопада?» — плотинка метрах в двадцати.

Впрочем, выше по течению одного ручья есть и подлинный водопад, метров пятнадцати высоты, ребята гуськом пробираются почтительно глазеть на него. Да впечатляет он и взрослых.

Второй год в вермонтском уединении — кажется, только и работай? Я и работаю упоённо — но вон уже сколько тут страниц исписано внешними помехами и досадами. В зиму же на 1978 — вдруг приглашение: выступить с речью на выпускном акте Гарвардского университета. Конечно, можно и тут отклонить, как отклонил уже их приглашение в 1975 и как уже сотни приглашений отклонены. Однако весьма примечательное место, будет хорошо слышно по Америке. А уже два года не выступал — и темперамент мой толкает снова вмешаться. И я — принял приглашение.

Когда же стал весной готовиться, то обнаружил, что кроме стилистического отвращения к вечным повторениям — я вообще уже не способен, не хочу повторять в прежних направлениях и на прежних нотах. Много лет в СССР и вот уже четыре года на Западе я всё полосовал, клевал, бил коммунизм, — а за последние годы увидел и на Западе много тревожно опасного и предпочитал бы *здесь* — говорить о нём. И давая исход новым накопившимся наблюдениям, я строил речь по поводам западным, о слабостях Запада.

Эту речь, в исключение, я готовил в письменном виде, переводить же её на английский досталось И. А. Иловойской. Хорошо зная Запад, она очень огорчалась над речью, уговаривала меня смягчать мысли и выражения, я отказался. После того, переводя и печатая, со слезами говорила Але: «Этого ему не простят!»

О речи моей объявлено было заранее, и от меня ждали прежде всего (писали потом) — благодарности изгнанника великой Атлантической державе Свободы, воспевания её могущества и добродетелей, которых нет в СССР. И ждали, конечно, антикоммунистической речи. Накануне, при процедуре торжественного ужина, я имел честь сидеть с президентом Ботсваны сэром Серенце Хама, утомлённым фиолетовым негром, и экс-президентом Израиля Эфраимом Кациром (Качальским), очень напоминающим добродушного сельского хохла, но с задумкой. А нервно подвижный Ричард Пайпс, столь влиятельный в Гарварде и чуть не направитель всей здешней науки о России, подходил знакомиться, с разведкой: верно ли, что речь моя будет о Камбодже. (А о Камбодже — ещё как бы стоило говорить.)

На другой день на университетском дворе рассаживались под открытым небом выпускники по специальностям, дальше гости, и стоя вокруг, — всего, говорили, двадцать тысяч. Ректор университета поздравлял оканчивающих, затем вручались нам — с президентом Ботсваны, с Кациром, датским антропологом Эриком Эриксоном, замечательное лицо, — докторские степени, и, к моему удивлению, меня приветствовали общим вставанием и долгими аплодисментами, ещё миф обо мне не развеялся тут. Затем по университетскому двору долго маневрировали выпускники Гарварда (начиная со старичка, выпуска 1893 года), вели нас, почётных гостей, под студенческие приветствия, потом опять все рассаживались. Вскоре дошли и до моей речи — а между тем пошёл изрядный дождь. Мы-то, президиум, находились под навесом — но всё соборище под дождём, и я, в речь, изумлялся: кто зонтики достал, а кто и безо всяких — сидят под дождём, не разбегаются! А заняла речь, с переводом, целый час, время удваивалось. Динамики разносили её по всем углам двора.

И ещё я удивлялся, совсем не ждал: как сильно и часто аплодировали, особенно когда я говорил об уходе от материализма, это меня порадовало.

Иногда они свистели, а это у них, оказывается, тоже знак одобрения, но и ещё бывал звук: протяжное «с-с-с», как наш призыв к тишине, — а это, напротив, осуждение. (Потом я узнал: на этом же кампусе в своё время и раздавались самые резкие протесты против вьетнамской войны.)

После речи университет попросил у меня текст\*, и тут же размножил, раздал в две тысячи рук, и началось вакханальное распространение в произвольных выдержках и цитатах по Штатам и по всему миру. Из 12 стран университет получил больше пяти тысяч запросов. (Вот, опять этот эффект: чего из других мест не слышали — теперь, из Америки, весь мир услышал, как в первый раз.) А неутомимое телевидение, всё время снимавшее, в тот же вечер передавало речь и дискуссию по ней. Изо всего этого мы с Алей до ночи только успели поймать, что «Голос Америки» передал целиком речь на СССР, моим голосом.

Затем полтора суток у нас была как экскурсия в прошлое: вечером в университетском столовом зале давало нам ужин издательство «Харпер» — и приглашился смотреть на меня гадкий старик Кэз Кэнфильд, который когда-то капризничал над «Кругом» и диктовал унижительные бесправные условия. Старые обиды не вспоминать, но и смотреть на него неприятно. — А на другой день мы поехали в коннектикутский дом Томаса Уитни, и друг его Гаррисон Солсбери был там, — прежние, посвящённые, теперь принявшие не сторону Карлайлов, а мою. К вечеру хозяин собрал избранных гостей, Артур Миллер и его круг, из нью-йоркской элиты.

А ещё на следующий день мы вернулись домой — и начали приноситься, и приносились — два месяца! — возбуждённые газетные отклики на речь, затем и поток прямых писем американцев ко мне. Письма читала и делала их сводку И. А. Иловайская, статьи я многие прочёл сам. И, надо сказать, изумился. Тому, как эта критика соотнослась (*не* соотнослась) с содержанием моей речи.

Название я дал ей «Расколотый мир», с этой мысли и начал речь: что человечество состоит из самобытных устоявшихся отдельных миров, отдельных независимых культур, друг другу часто далёких, а то и малознакомых (перечислил некоторые)\*\*. И надо оставить надменное ослепление: оценивать все эти миры лишь по степени их развития в сторону западного образца. Такая мерка возникает из непонимания сущности всех тех миров. И надо же посмотреть трезво на свою собственную систему.

Западное общество в принципе строится — на *юридическом* уровне, что много ниже истинных нравственных мерок, и к тому же это юридическое мышление имеет способность каменеть. Моральных указателей принципиально не придерживаются в политике, а и в общественной жизни часто. Понятие *свободы* переклонено в необуздание страстей, а значит — в сторону сил зла (чтобы не ограничить же никому «свободу»!). Поблекло сознание ответственности человека перед Богом и обществом. «Права человека» вознесены настолько, что подавляют права общества и разрушают его. Особенно своевластна *пресса*, никем не избираемая, но приобретающая силу больше законодательной, исполнительной или судебной власти. А в самой *свободной* прессе доминирует не истинная свобода мнений, но диктат политической моды — к неожиданному однообразию мнений (тут-то я более всего их раздражил). Вся эта общественная система не способствует и выдвиганию выдающихся людей на вершину власти. Царящая идеология, что накопление материальных благ, столь ценимое благосостояние превыше всего — приводит к расслаблению человеческого характера на Западе, к массовому падению мужества, воли к за-

\* «Публицистика», т. 1, стр. 309 — 328.

\*\* Я самостоятельно ощутил эту мысль. Только в 1984 прочёл Шпенглера, только в 1986 Данилевского, снизившего свой мастерский ботанический, с переносом по аналогии на человечество, анализ навязчивой идеей панславизма, — будто без него Россия не могла бы отважиться на самобытную цивилизацию. (Примеч. 1986.)

щите, как это проявилось во вьетнамской войне или в растерянности перед террором. А все корни такого общественного состояния идут от эпохи Просвещения, от рационалистического гуманизма, от представления, что человек — центр всего существующего, и нет над ним Высшей Силы. И эти корни безрелигиозного гуманизма — общие у нынешнего западного мировоззрения и у коммунизма, и оттого-то западная интеллигенция так долго и упорно симпатизирует коммунизму.

И, к завершению речи: моральная нищета XX века в том, что слишком много отдано политико-социальным преобразованиям, а утеряно Целое и Высшее. У всех у нас нет иного спасения, как пересмотреть шкалу нравственных ценностей, подняться на новую высоту обзора. «Ни у кого на Земле не осталось другого выхода, как — вверх», — закончил я.

Во всей этой речи я *ни разу* не употребил даже слова *разрядка* (международная), повторного осуждения которой больше всего от меня ждали, ни даже призывов к преодолению коммунизма, — и только на третьем плане, глухим фоном, проплывало: «следующая война может похоронить западную цивилизацию окончательно», «идёт — физическая, духовная, космическая! — борьба за нашу планету», «давит мировое Зло»...

И что же в этой речи центровая образованность и пресса услышали — и как ответили?

Не тому изумился я, что газеты меня вкруговую бранили (ведь я же резко задел именно прессу!), но тому, что *полностью* пропустили всё главное (изумительная способность медиа), а изобрели такое, чего в речи вообще не было, — и били туда, били туда, где я ожидался, но вовсе не оказался. Ошалело газеты загладели так, будто речь моя была именно о разрядке или войне. «Не оказал услуги миру, призывая к священной войне (?)... Концентрируется на крестовом походе против коммунизма... Зовёт американцев в бой... Чтобы западный мир раздавил коммунизм... Упрекал нас, что мы не освобождаем Востока(?)... Показал, что он не христианин и не интеллигент, а циничный поджигатель войны, полный мстительности... Худший недостаток американцев, что принимают и потворствуют стольким эмигрантам из Восточной Европы с их мстительностью... Провокационные и глупые замечания... Его призыв „к мужеству“ может привести нас к другому Вьетнаму или Третьей Мировой войне... Авторитаризм с ностальгией по царским временам, хочет, чтобы Запад не умиротворял советскую систему, но разрушил её. Не способен дать нам совет в нашей политике» (выше политики и не видят). А уж тогда тем более: «Как мы могли продолжать убивать великое множество вьетнамцев, если они предпочли строить свой национальный коммунизм?»

В прессе первых дней неслась горячая брань: «Сторонник холодной войны... Фанатик... Православный мистик... Жестокий догматик... Политический романтик... Консервативный радикал... Реакционная речь... Одержимость... Потеря баланса... Бросил перчатку Западу... Не попал в цель... Звучало как высказывание расколотого разума» (игра слов с названием речи «Расколотый мир»).

И, уже с переходом к «оргвыводам»: «Если вам здесь не нравится — уберите!» (Это — в нескольких газетах, не раз.) «Если жизнь в Соединённых Штатах столь скверна и продажна — почему он выбрал жизнь здесь?.. Мистер Солженицын, когда вы будете выходить — пусть дверь вас сзади не ударит. Вам ничто здесь не нравится — не будет с нашей стороны нелюбезно указать, что не обязательно вам здесь оставаться. Любите нас — или оставьте нас! Пусть пошлют ему расписание самолётов на восток». — Особенно раздражало, что я в речи называл «нашей страной» не Америку, а всё ещё СССР. «Не переносу, когда гость читает лекцию о наших недостатках. КГБ его выбросил, а он осуждает нас, что у нас много свободы, — (это и правда смешно), — а сам живёт в роскошном аскетизме. Америка спасла его родину от гитлеровских орд». (Это ещё кто кого спас.)

До гарвардской речи я наивно полагал, что попал в общество, где можно говорить, что думаешь, а не льстить этому обществу. Оказывается, и демократия ждёт себе лести. Пока я звал «жить не по лжи» в СССР — это пожалуйста, а вот «жить не по лжи» в Соединённых Штатах? — да убирайтесь вы вон!

Ещё отдельно особенно упрекали, что я критикую ту самую западную прессу, которая меня спасла в моём бою. Да, получается вроде неблагодарно. Но я шёл в бой, готовый к смерти, а не рассчитывая, что меня спасут целёхоньким. Я тогда и писал в «Телёнке»: «накал западного сочувствия стал разгораться до температуры непредвиденной». А вот они уже и раскаиваются, что мне помогли. Сослали бы большевики меня в 1974 в Сибирь — Запад легко бы простил, особенно узнав «Письмо вождям». Киссинджер и Папа Павел VI ещё и осенью 1973 поняли, что защищать меня не надо.

Почти в тех же часах, что я в Гарварде, выступал в Аннаполисе в военной академии президент Картер и всячески хвалил Америку. «Картер описал американский путь почти в евангельских терминах. А Солженицын обрушился...» Через несколько дней, едва ли не нарушая правила приличия, жена Президента в национальном клубе печати выступила специально с ответом мне: что никакого духовного упадка в Америке нет, но всесторонний расцвет. Широкая волна оправданий Соединённым Штатам прокатилась и по всей печати: «Не хватывает американского духа... У него нет реального понимания свободы, не может разглядеть, как работает демократия... Мы безответственны? Но мы ставим на первое место свободу, а ответственность потом — именно потому, что мы свободный народ...»

Крупные газеты не печатали самой речи, хотя копирайта не было объявлено, а лишь — отрывки, удобные им для разноса. «Очень предубеждённый взгляд на западный мир... Не видит прока в свободе, а в демократии весьма относительный... Не постигает, что в нашей слабости большая сила, даже в наивности и немонолитности правительства. Это непостижимо для традиционного русского». И так — сквозь многие отклики: слишком русский, несправимо русский, с русским опытом, ему не понять. «Голос из прошлого. Славянофил XIX века... Испытывает тоску по угнетённой царской России... Он презирает нашу прессу... Все молчаливо ожидали, что после трёх лет американской жизни он должен признать наше превосходство. Мог бы хоть раз поприветствовать общество, в котором всем так доступна свобода. Разве мы не опубликовали его книги? И это — недостаточная причина благодарности?.. Многие американцы съёжались от утверждения о „праве не знать“ (я сказал об „утраченном праве людей не знать, не забивать своей божественной души — сплетнями, суесловием, праздною чепухой“). — А. С.), или что коммерческие интересы душат духовную жизнь... По сравнению с этой речью утверждения Шпенглера в „Закате Европы“ кажутся безрассудно оптимистичными... Гигант нас не любит... Он смертельно ошибается, если верит, что ограничения нашей свободы сделают нас сильнее... Очень неопределённо: „возрождение духовной жизни“... Задерживаться на глупости этой концепции было бы смешно. Мы не уступим прирождённое право свободы... Гарвард не нашёл хорошего оратора. Благодарю Бога, что я американец».

Гарризон Солсбери, защищавший меня по телевидению в первый же день: мол, сельский философ из уединения может отлично охватить общую картину, теперь тоже удивлялся: «Хочет ли Солженицын быть оппозиционным правительством и для Штатов, и для СССР? Невероятное бремя для одних плеч».

Но даже и в первом слитном хоре осуждения, а день ото дня всё сильнее, звучала оценка речи не как политической, а то и дело, десятки раз, сравнивали меня с библейским пророком, со старинными американскими пуританами: «Как из ведра вылил угрозы Страшного Суда... Он наш Исая... Иеремия... Савонарола... Возродил традицию апокалиптического пророчества и глубоко затронул сердца многих американцев... Уже давно не слышали мы такого пуританина. Знаменитый Мэзер, президент Гарварда, показался бы нравственно

расслабленным в сравнении с требованиями Солженицына... Прямой преемник проповеднической традиции Новой Англии. Место, где он выступал, было самым подходящим, потому что в Новой Англии призывы такого рода раздавались в течение трёхсот лет... Критика, исходящая из более древней, более суровой и пессимистической духовной традиции, чем Просвещение... Превосходил опыт слушателей. Никто не был подготовлен к восприятию таких идей... Потряс страну землетрясением в 9 баллов, горькая правда...»

А вот уже можно было прочесть и оценку недавних газетных откликов: «Болезненная реакция [прессы]... Лавина непонимания... Речь смутила и рассердила больше, чем просветила... Интеллект большой силы и потенции, Солженицын взбудоражил осиное гнездо. Редко отдельная речь частного гражданина возбуждала так много сердитых возражений, и редко столь превосходящее множество ответов так далеко уклонялись от цели... Банда журналистов концентрированно хочет опорочить Солженицына. Он напал на медиа за её самоуверенность, лицемерие, обман, они этого никогда ему не простят... Солженицын должен понимать, насколько его масштабное видение не подходит демократическому и либеральному обществу... Либералы краснеют при слове „зло“. А Солженицын видел лицо Зла».

И чем чаще стали выдвигаться в газетные колонки просеянные и усеченные редакциями отклики читателей и статьи раздумчивых журналистов, и чем шире вступала в обсуждение провинциальная пресса, тем больше менялся тон в оценке речи: «Крик Солженицына в Гарварде устрашает. Самое лёгкое сделать вид, что это всё ерунда, а мы понимаем лучше. Однако эти слова могут быть правдой, и кто произнёс их — пророком, даже если его не почитают ни в своей стране, ни в приёмной... Нет лучшего дара, какой может принести нам изгнанный иностранец. Если бы он не любил то, чем мы были и могли бы быть, — он не предупреждал бы нас по поводу того, чем мы стали... Нам не хватает своих Солженицыных... Можно было пожелать, чтобы он высказал больше благодарности своей приёмной стране. Но в этом, может быть, дальнейшее проявление мужества — та соль, которая больше нужна нашей стране, нежели тот сахар, который она хотела бы... Дал нам чувство надежды... Какое было облегчение это услышать!.. Поблагодарим, что у него хватило мужества говорить с нашей молодёжью о нравственности... Было мудро прислушаться к нему... Я захвачен мощностью его убеждений. Красота его речи — в том, что она духовна и вызывает размышления. Он хочет отблагодарить за гостеприимство самым искренним путём, давая самое ценное своё имущество — мысли... Искусство и художники имеют обязанность относительно всех остальных: постигать и выдвигать свои постижения без компромисса... Если восхищаемся его прямоотой в одном географическом пункте — надо уважать её и в другом!.. Писал к советским вождям, теперь продемонстрировал сравнимое „письмо к западным руководителям“... Bravo! Справедливые слова в нужное время и нужной публике... Речь необходимая, реакция прессы злобная... Какой писатель в конюшне Белого Дома писал ответные слова для Розалины Картер? Жалкие возражения... Надо учиться у него, а не сердиться... Статьи прессы исказили речь и показали технику, как ставят окаменелый панцырь вокруг голов... Пусть говорит ещё! Жизнь духа — в опасности везде в мире. Перечитать гарвардскую речь не как атаку на нас, а как призыв ко всей человеческой семье...»

И наконец, прорвалась в газету и одна выпускница Гарварда, слушавшая мою речь, Ванда Урбанская: «Перевернул многие наши представления о нас и о мире, которые Гарвард так тщательно вырастил. Почему газетный критик смеет отвечать от лица выпускников? Солженицын бросил нам вызов, растормошил нас и останется с нами».

Теперь уже можно было прочесть и много признаний, выказывающих совсем не ту надменную нью-йоркско-вашингтонскую Америку: «В глубине мы знаем, что он прав... Мы хуже, чем он говорит, если не можем стать лицом к лицу с нашими пороками и попытаться их исправить... Он прав, слишком ужасно прав. Но та самая слабость, в которой он нас обвиняет, и мешает нам

принять лекарство... Выводы Солженицына мучительно близки к цели... Мы боремся за деньги и не понимаем подлинных ценностей жизни... Мы понимаем свободу так, что ищем себе самого лучшего за счёт всех остальных... Запад духовно болен и страдает глубокой потерей воли... Мы лишаемся духовной верности свободе... На место диктаторского правительства мы поставили авторитет групп с особыми интересами. А необходима способность к жертве... Многие американцы разделяют с Солженицыным отсутствие энтузиазма о демократии. На банкнотах мы пишем „In God we trust“, — надо или доказать это, или снять надпись... Америка — не моральный Прометей, и мы — секуляризованная нация, занятая одним заработком... Мы — духовно большое и нравственно плоское общество. Вы [газета] не понимаете Солженицына, потому что он смотрит в корень проблем... Не прислушаться к нему — ошибка. Он пытается придать энергию гражданам своей приёмной страны... Нет страны в здравом разуме, которая приняла бы нашу преступность и наркотики, порнографию, секс как центр разговоров, и ублажение детей. Мы напоминаем Содом и Гоморру... Свобода, предоставленная сама себе, может произвести хаос. Всё, что он сказал, — правда, от нашей трусости до непереносимой музыки... Общество, которое позволяет технологии развиваться в моральном и этическом вакууме, подобно злополучному пациенту, чья жизнь поддерживается искусственными лёгкими и почкой... Блестящая и смелая речь его как двуострый меч разрежала мякоть Америки! Американский народ поддержит Солженицына... „Вашингтон пост“ может посмеиваться над русским акцентом Солженицына, но не может отбросить его универсальное значение... Будем благодарны, пока не поздно... Его речь должна быть выжжена в сердце Америки. Но её не напечатали, а убили... Плоский стиль свободной прессы доказывает правоту Солженицына. Журналисты — высокооставленные разбойники... Газеты разделяют нас как нацию... Может ли пресса быть плюралистической, если она в руках малого числа дельцов?»

Так постепенно разворачивалась передо мной и другая Америка — коренная, низовая, здоровая, которую я и предчувствовал, строя свою речь, к которой, по сути, и обращался. И теперь высвечивалась надежда, что с этой коренной Америкой я могу найти единство, и могу предупредить её нашим опытом, и могу даже повернуть. Но — сколько ж на то лет? и сколько ж это сил?

Да и как вести эту борьбу, поощряя их стоять насмерть против коммунизма — и ни разу не дать направить против России? И ещё в обстановке, когда поворотливые полемисты из Третьей эмиграции не только наносят, натягивают дурманную ложь на Россию, но ещё и с таким неожиданным заворотом: что национальная Россия — наибольшая опасность для Запада сравнительно с благодушным нынешним коммунистическим режимом, который и надо, сдерживая, поддерживать умелыми переговорами.

С гарвардским приглашением впримык пришло и приглашение из Военной академии Вест-Пойнт: генерал предлагал собрать больше 5 тысяч курсантов, полный состав, и лекция — на любую тему. Очень значительная точка приложения для поворота Америки! Вест-Пойнт — это трибуна американских президентов. И сочувственная сильная аудитория, а не гарвардская рефлексирующая. Да кого важней и убеждать? Грозное, решительное место: эти самые курсанты будут военачальниками на полях Третьей Мировой и администраторами привоенных местностей. Через кого, как не их, спешить отвратить американскую ненависть от России? Кому, как не им, первым бы и рассказать о предательствах Первой и Второй мировых войн, им первым бы и разъяснить разницу между СССР и Россией. И по коммунистам будет отличный удар! И я уже очень склонялся ехать, но Аля верно отговорила: как это будет выглядеть на родине у нас? Если от речей профсоюзных мне клеили, что я призываю задушить Россию голодом, то речь в военной академии будет выглядеть совсем как братание с «американскими империалистами». Получится — совсем не то, что я хочу. Верно. Пришлось отказаться.

Гарвардская речь вызвала гулкое эхо, и куда раскатистее, чем я мог предвидеть.

И густота приглашений не падает, и можно носиться молнией между конференциями, конгрессами, университетами, телевидениями — и всё время выступать. В этой суете легко замотаться. И одна политическая активность неизбежно тянет за собой ещё десять и сто. А ещё если б весной 1974 я приехал бы в Штаты, как меня рвали и звали, и тогда несомненно получил бы почётное гражданство, — каким бы бременем оно сейчас на меня легло, когда я сюда переселился! Уж тут бы не отбиться так легко, а — участвовать, отзываться, высказываться. Больше почёта — больше хлопот. А так — живи себе свободно, отрешённо, не обязанный срастаться с этой страной.

Ещё и язык. На восстановление и развитие английского пойдёт больше времени, а безумно жаль его, когда по истории революции томятся десятки тысяч ещё нечитанных страниц, когда столько воспоминаний стариковских ждут, — и всё же время писать. Нет смысла отрывать время от русской работы, да и тексты моих выступлений должны быть взвешены и отточены всё равно по-русски.

Да что! — я даже и пейзаж, вот этот вермонтский, вот эти кусочки леса, и даже перемены погоды, и даже игру солнца, неба, облаков — здесь не воспринимаю с такой остротой и конкретностью, как в России. Тоже — как будто на другом языке, что-то стоит между нами.

Не случайна эта пословица: на чужой стороне и весна не красна.

А дома — верю, возобновится. Для того времени и живу, и пишу.

Ещё когда были мы в Цюрихе, одна старая эмигрантка подарила мне крупный цветной фотоснимок высокого качества с поленовской картины: изгибистая малая русская речушка, к мосткам подчалена одинокая пустая лодка без вёсел, тот берег — в диковатой траве и с песчаной осыпью, чуть видна за ней соломенная избяная крыша — и нигде ни человека, никого живого. Печаль, тоска — и сладкая привязанность к родине. Снимок этот теперь всегда приколплен за моим письменным столом, не наглажуясь.

А вот уже в Вермонт — ещё один эмигрант, из Швеции, прислал, с сертификатом экспертизы, в раме, крупный левитановский эскиз «Дорожки»: заброшенная полевая дорожка, шире тропки, — через прясельный вход по низкому травяному месту, в пасмурный день. И тоже — никого. И тоже — ах, Россия! (Над камином повесили.)

\* Год за годом всё продолжают откликаться статьями. «Редко когда голос одного человека побуждает к духовным поискам весь западный мир. [Выступления в Гарварде и у профсоюзных] взбудоражили сознание западного мира сильнее, чем знаменитые речи Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля... Непрерывающиеся разговоры о Гарвардской речи свидетельствуют о силе слов Солженицына и о серьёзности его критики наших фундаментальных ценностей». Теперь оценивают, что: «Его общий анализ западных представлений не так уж легко опровергнуть... Просвещение проявило ничем не обоснованный оптимизм в понимании человеческой природы... Речь Солженицына — произведение более сложное и трудное для понимания, чем обычно думают... Наиболее важный религиозный документ нашего времени... Он рассуждал в чисто плюралистической манере, не прибегая к символам русского православия... Между Солженицыным и его критиками разница более высокого порядка, более тонкая и неуловимая, чем большинство этих критиков думает». Многие из моей критики признали, хотя и поправляют в терминологии. Верно говорят: «Он не Запад критикует, а спрашивает: есть ли выход из современности?» Конечно, Р. Пайпс продолжает настаивать, что критика моя «хаотичная», «погромная» и вся «в русской интеллектуальной традиции», и даже списана у Победоносцева (я его и не читал никогда), — русская жизнь, как известно, «дебильная», ГУЛАГ есть результат славянофильской идеи, американцы же — народ более добродетельный, щедрый и трудолюбивый, чем русские. Но другие голоса уже не считают мои высказывания «неискоренно русскими», а даже относят «к традиции лучших западных умов», находя мне западных предшественников — Свифта, Берка. Это — «центральные идеи христианского Запада», и даже: «в Гарвардской речи больше чьих-то идей, чем собственных». Да ведь им невдомёк, и я не спешу признаться: да я *никого* тех не читал, когда б это в моей жизни было время на их чтение? я шёл — одной интуицией и жизненным опытом. Кто-то и заметил: «Благодаря своей исключительной интуиции приходит к выводам, которые толпа сначала отвергает». (Примеч. 1982.)

А вот ещё кто-то прислал по почте видовую открытку: в солнечном утре малый пролесок, через не видный нам ручей внизу высокие досчатые лавы с одним поручнем — так и зовут: перейди через нас, вот сюда, на лужайку. И тоже — ни фигурки, но, может быть, перейдя, кого-то и встретишь дальше? И сколько же таких чудных местечек в России — где я не бывал, и никогда не буду? Сладкая тоска. (Поставил и эту открытку на столе в кабинете.)

## Глава 5

### СКВОЗЬ ЧАД\*

И вот, кажется, сидеть бы в Вермонте да писать Узлы.

Так нет: перемирия с советским коммунизмом всё равно быть не может. Замолчал я — так не замолчат они. Мои американские речи 1975 года, видимо, здорово вздрючили их: с такой прямоотой, громкостью и, главное, откликом — наверно никто им с 1917 года не врезал. Спохватились: если не убили меня вовремя — так надо ж теперь измарать покрепче.

До сих пор продавали советские агентства по всему миру и на многих языках (но не в СССР) книгу моей первой жены. Грубовато она была сляпана, вряд ли они меня много ею опорочили. И это сообразив, вот скропали ещё одну книгу, официальное советское издание\*\*, значит, впервые решились открыто по СССР двинуть книгу против меня. А мне — ещё долго бы этой книги не увидеть, долго бы на неё не ответить, — да сорвался её номинальный автор Ржезач и по почте прислал мне, с торжествующей надписью. И только я её в руки взял — ожгло: отвечать немедленно! Если уже для соотечественников печатают — отвечать!

Да от самого появления «Архипелага» ждал я, что будут штурмовать в ответ и опровергать прежде всего сам «Архипелаг». Но поразительно: вот и за пять лет они ничего не родили в опровержение, кроме довольно скудных АПНовских брошюр, бесплатно раздаваемых в западных столицах. Миллионный, сытый, адрессированный, натренированный сталинско-брежневский пропагандистский аппарат оказался перед «Архипелагом» в полном параличе: ни в чём не мог его ни поправить, ни оспорить. В его распоряжении тысячи перьев, все архивы, какие не сожжены, и времени протекло больше, чем я один работал над «Архипелагом», — а ответа нет как нет!

Потому что ответить — нечего.

Бросилось ЧКГБ трясти и вынуждать к опровержению уцелевших старых эзков. Однако во всём подвластном Советском Союзе никто не соблазнился, кроме единственного М. П. Якубовича. Но и сейчас, по стерильности марксологического аппарата, нельзя его использовать как официального автора: он не реабилитирован. И бывшего однодельца и бывшего друга моего Виткевича потянули на несколько интервью — сперва американской газете, потом финскому почему-то радио, потом и ещё, ещё кому-то. И, снова сознательный член КПСС, Виткевич говорил всё то, что нужно было партийным хозяевам: «В лагерях совсем не было так плохо», «в книге всё искажено и представлено в превратном виде», «у него был своеобразный способ собирания фактов: он брал только то, что может помочь ему стать великим писателем. А какие факты не подходили — те он отбрасывал», — и другой подобный вздор.

И вот, наконец, выставили Ржезача. И на 215-страничном просторе мы узнаём, что Лубянка справедлива, добра, даже чутка, её следователи — «почтенные люди, интеллигентные манеры». «Разве можно утаить пытку целых тысяч или полное исчезновение десятков тысяч людей? Нет, это невозможно.

\* Эта глава была напечатана отдельной книжкой: Солженицын Александр. Сквозь чад. Париж, «ИМКА-пресс», 1979.

\*\* Ржезач Т. Спираль измены Солженицына. М., «Прогресс», 1978.

Нет и никогда не будет такой службы госбезопасности, которая сумела бы заткнуть рот всем».

Увы, большевики всегда справедливо заявляли, что для них нет невозможного.

О рядовом лагерёчке узнаём от Ржезача: «охраны почти никакой. Режим очень мягкий, никто никому ничего не указывает», и даже: «заключённые испытывают здесь самое большое блаженство». «В этапах и пересыльных тюрьмах довольно прилично кормят». «Советские лагеря ни в каком смысле не были лагерями смерти», а случалось — производственные бригады кормили даже... бутербродами с чёрной икрой! (стр. 125).

Но кроме этого светлого соцреалистического очерка хотел бы отважиться авторский коллектив (я думаю: «моё» отделение на Лубянке) спорить и лоб в лоб с «Архипелагом». Ведь сидели ж они целым отделом пять лет над тремя его томами, что-то же надо выдать? А вот.

Я пишу: «Штрафные роты стали цементом фундамента сталинградской победы». — Так «может быть, капитан Красной армии Солженицын не знает, что штрафные роты были вооружены лёгким оружием, а отнюдь не автоматами?» (Вот и проговорка: посылались на безответный убой?) Может быть, он не знает, что под Сталинградом действовали мощные бронетанковые силы и армия Чуйкова?

А всего-то надо уметь читать. Июнь и июль 1942, южная часть нашего фронта откатывалась опять безоглядно, как в 1941. И после сдачи Ростова сталинским приказом № 227 (27 июля) созданы были и стали быстро набираться из бегущих — штрафные роты. И безвыходный страх попасть в эти роты пересилил фронтовую панику. Так штрафные роты стали *цементом фундамента* победы.

«В 1918 году вообще не было НКВД [как Солженицын называет], НКВД был создан только 10 июля 1934 года, и никакой „Вестник НКВД“ в 1918 выходить не мог. И в этом весь Солженицын, он занимается выдумыванием» (стр. 173).

И в этом — весь гебистский коллектив. Ай-ай-ай, какой позор, не знать истории собственных родных Органов, сосцов, которыми питаешься. НКВД преотлично существовал с ноября 1917, и наркомом его был Григорий Иванович Петровский. (Поищите в своих библиотеках лучше — и «Вестник» найдёте.) Но Феликсу Эдмундовичу такое раздвоение действительно не нравилось, и он подмял НКВД под ЧК: с 16 марта 1919 стал по совместительству также и наркомом внутренних дел. А позже и вовсе этот наркомат проглотил. Да впрочем, это в «Архипелаге» и написано (ч. III, гл. 1), читать надо.

Или ещё напирают: что это за пересказы о смертных пытках с чужих слов? То есть почему воспоминания пишут не те самые, кого запытали насмерть? — Так Александр Долган и сам, едва не с того света, напечатал в Америке. И другие книги недоморенных тоже появляются.

И вот всё, что за 5 лет наскребла Советская Власть в опровержение «Архипелага».

Зато с первых же дней потянули другим путём, полегче, — против автора: как бы заляпать, зашлёпать его самого, тогда и «Архипелаг» заржавеет.

Но и против меня, вот времена: даже находился я в границах полного физического владения КГБ — их сил уже как бы не хватало просто придушить меня, и они звали на помощь — клевету. А теперь, когда я выброшен был из сферы их власти, теперь если когти, то надо было клепать многосуставные. Сперва они надеялись, что я за год обращусь на Западе в ноль, в забытое ничто. Когда ж увидели, что «Архипелаг» читается сверх ожиданий в миллионных тиражах, а я — не стёрт, не уничтожен, — с новой силой схватились за клевету.

Однако тут испытали они историческое наказание: из-за того что коммунистический аппарат за десятилетия изверг из себя слишком много яда — консистенция его разжижилась, изобретательность скорпионовых мозгов понизилась. А ко мне они уже и применили ведь: и соцпроисхождение, и нац-

происхождение, и небылой плен, и сдачу целой батареи, и служил полицаем, и служил в гестапо, — а за всем тем теперь вот уже ничего не могли придумать позорнейшего, как... сотрудничество с ними самими! помощь — им самим, явным для всех негодьям! (Уже дозрели они до понятия, что в людских глазах сотрудничество с коммунистическим режимом — позорно.)

С другой стороны, в противостоянии художнику этот ядеродный аппарат имеет превосходную позицию (как, впрочем, и всякие недобросовестные враги): художник по природе своей откровенен предельно и даже запредельно.

В «Архипелаге», и не только в нём, я не шадил себя, и все раскаяния, какие прошли через мою душу, — все и на бумаге. Даже — просто об офицерском состоянии, которое во всеобщем быту воспринимается вполне естественно, и я ничем из него не выделился; даже — о гипотетических возможностях: что бы могли сделать в юности из меня и подобных мне. В этом ряду я не колебался изложить историю, как вербовали меня в лагерные стукачи и присвоили кличку, хотя я ни разу этой кличкой не воспользовался и ни одного донесения никогда не подал. Я и нечестным считал об этом бы умолчать, а написать — интересным, имея в виду множественность подобных вербовок, даже и на воле. Из них, может быть, и две трети остаются потом без движения, — но они играют роль гипнотического завораживания массы. Я цель имел во всей книге, во всех моих книгах показать: что можно из человека сделать. Показать, что линия между Добром и Злом постоянно перемещается по человеческому сердцу. В свисте и вое перед высылкой, 2 февраля 1974\*, я и сказал об этом публично:

«У ЦК, КГБ и у наших газетных издательств... нет уровня понять, что я о себе самом рассказал в этой книге сокровенное, много худшее, чем всё плохое, что могут сочинить их угодники. В этом — и книга моя: не памфлет, но зов к раскаянию».

А у ЦК и КГБ не только этого уровня понимания нет и не было, и не будет (и незачем!), но даже нет простого образумления: с чем можно высунуться, не влипнув (как моя «переписка» с Ореховым, или как та грубая их подделка «доноса» 1952 года). У КГБ если что и красное — то пальцы, то руки по локоть, отнюдь не щёки.

Вот, оказывается, и теми неудачами не обескуражились они. Теперь узнаю, что коллектив чиновников и перьев не только не дремал, но занялся, наконец, непримиримым и окончательным моим изничтожением. Такой методической научной работой: подменить этого Александра Солженицына от предков до потомков. Как переклеивают клетки мозаики, сменить все клетки до единой — и взамен выставить искусственного мёртвого змея из составленных чешуек. Переклеивали — не ленились. Сменён мой дед, сменён отец, сменены дядья, сменена мать, лишь затем сменены дни моего детства и юности, и взрослости, подменены все обстоятельства, все мотивировки моих действий, детали поведения — так, чтоб и я был — не я, и жизнь моя никогда не была жита. И уж конечно, подменён смысл и суть моих книг — да из-за книг всё и затеяно, не я им нужен.

И вот, наконец, их исследование появилось отдельной книжкой (на обложке неся, как на лбу, двойное, для верности повторенное, жёлтое тавро). Автором указан Ржезач (иностранец, хорошо!), издательство «Прогресс», ускоренный пролёт через типографию (от сдачи в набор до подписания к печати 10 дней), а тираж — скрыт, может быть, ещё и не решён, как не решена и цель: рискнуть ли продавать советским читателям (и тогда внедрить в их умы заклётое имя)? Пока решили распространять через спецотделы среди столичной публики, которая всё равно уже порчена, имя моё знает. А на Запад — толкать ли только эмигрантам, бесплатным подарком? или рискнуть перевести на языки? Да не подаст ли Солженицын на те издательства в суд?

\* «Бодался телёнок с дубом», стр. 666.

В суд — не подам, могу их успокоить. Правоту нет нужды взвешивать с нечистью на юридических весах. Да и кто же судится с советским Драконом? (Да и он нас в лагеря посылал без суда.) Не найденных, не выхваченных или уже пробованных, но не сломленных свидетелей моей жизни — сотни, потому что и жизнь моя реально — была, как ни подменяй все клеточки. Но все эти свидетели — под советской завинченной крышкой, и не могу же я их вытаскивать под расправу.

А когда придёт время говорить безбоязно — так кого-то и в живых уже не будет?

В том и особая успешливость клеветы, когда её ведёт тоталитарное государство: в открытом обществе всякая клевета может встретить возражения, опровержения, встречные воспоминания, публикацию документов, архивов, писем. Под коммунистическим сводом ничто подобное не возможно: возразить негде, и одно движение в пользу оклеветанного грозит гибелью и защитнику.

Не я первый. Все враги большевизма до единого были оклеветаны этой ядоносной властью ещё при её становлении. Затем в СССР был оклеветан каждый осуждённый, сколько-нибудь известный, — от Пальчинского, Шляпникова, профессора Плетнёва до Огурцова и Гинзбурга в наши дни. И над многими мы трудились и трудимся, чтоб очистить их.

Итак — отвечать ли мне теперь? Против меня кто только не писал за эти годы — я никому не отвечал, я работал своё. И то же АПН два сборника клевет про меня распространяло на многих языках бесплатно — я не отвечал. Но представить миллионы наших соотечественников сейчас: в Советском Союзе не достанешь ни «Архипелага», ни «Телёнка», а только издательство «Прогресс». А со смертью моей и ещё многое канет — и тем более присохнет грязь — она насадчива. Ведь — кто клеветает? Самая могучая сила в современном мире.

В борьбе никогда не знаешь, куда тебя враги затянут. 11 лет назад я начал у себя в Рождестве эти очерки современной литературной борьбы. Вот уж не мог предположить, что через 11 лет вынудят меня, уже на другом континенте, перевести страницы этой книги на моё дальнейшее-предальнее детство и прошлую жизнь, всю вывернутую врагами.

Это — как смрадно-клубливое недогоревшее пожарище, через которое ты идёшь и идёшь, и одежда твоя, и кожа, и волосы всё пропахиваются и пропахиваются, и долго ты просто отмахиваешься как от помешного пустяка. Но в какой-то момент вдруг понимаешь, что неизбежно начать отмываться, оттираться, иначе это въестся, останется на тебе до смерти и даже после смерти, и на сыновьях, и на внуках твоих.

Конечно, говорит пословица: быть — как смола, а небыть — как вода. Так и понадеяться: само отпадёт, не пристанет. Но иной другую пословицу вспомнит, хоть и над «Прогрессом»: что, мол, дыма без огня не бывает. Ведь это сколько лет надо с чекистской породой перепестоваться, чтобы верно знать: у них — дым получают химическим способом, без огня.

Так кто же этот Ржезач? Это — чех и отчасти даже диссидент: в 1967 буд-то присутствовал при чехословацком бунтарском писательском съезде, в 1968 вместе с вольнолюбивыми чехами хлынул в эмиграцию (тогда ли уже имея задание от ГБ или попозже его получив), вместе с ними семь лет негодовал на советскую оккупацию, затем исчез в одну ночь из Швейцарии, а через сутки выступал по чехословацкому радио, понося эту эмиграцию и деятелей её, и все подробности её жизни. По-русски это называется: *перемётная сума*. Собственно, для понимающих людей, рисунок автора уже и закончен.

Да и сам он открывает книгу «глубокой благодарностью Союзу писателей СССР, Союзу журналистов СССР, Агентству печати „Новости“, „Интуристу“, „Совтуристу“ и всем советским гражданам, которые отнеслись с необыкновенным радушием», бестрепетно «любезно принимали» иностранца и охотно

давали интервью под стенографистку или магнитофон. Не упрекните, что Сумá неблагодарно пропустил ГБ: оно — в каждом из этих учреждений сидит, а ещё беседовали с ним и прямо пенсионеры КГБ — даже «в нарушение служебного долга», и — «представители советского правосудия»\*.

Однако этот ржец, этот лжец пишет книгу, оказывается, не как посторонний учёный биограф, но (сразу же объявляет нам желтоклеимённый «Прогресс», на первой странице): он «принадлежал к узкому кругу друзей Солженицына, более того, был его сотрудником. Достаточно хорошо узнав писателя...», и сочинив много тетрадей под названием «Беседы с Солженицыным» (есть такая сноска у него, стр. 108), отсюда уже сам себе приводит «цитаты».

Вот, привыкай не привыкай к чекистским хваткам, а до конца всё равно не привыкнешь! Ну всё-таки, не может же человек придумать знакомство, если его в о все никогда не было? Ну как же вообразить, что этот лжец никогда не сказал со мной ни единого слова, если он по всей книге разбросал, как заливался со мною в беседах, то «сидел рядом за столом», то я его «грубо хватал за пуговицу», то собирался он мне продать холодильник, то «в одну из наших встреч Солженицын сказал мне», то «в первые дни знакомства я был просто очарован», а именно: лауреат в гостях сидел в филигранном кресле Людовика XV (в квартире, «обставленной модерн»), на нём были туфли, напоминающие лапти царских времён, на лице его были чахоточные пятна, он звучно прихлёбывал чай, никому в комнате не позволяя пить расставленные огненно-золотистые вина, никому не разрешая задавать вопросы, сам гортанно выкрикивал с широкими пророческими жестами... А между тем сей автор никогда не был со мной знаком, не пожал руки, не встретился взглядом, не то что бы там — близким сотрудником или приятелем. Даже видел ли он меня издали в толпе — тоже вопрос. Три раза я появлялся в собрании чехов: один раз у супругов Голубов, вскоре после высылки, в марте, — и эту встречу он больше всего и расписывает, хотя там не был, да ещё и, пренебрегая памятью тридцати человек, переносит её с марта на май; второй раз — в чешской картинной галерее (и её переносит с марта на апрель); а третий — на массовом митинге на площади в 6-ю годовщину оккупации Чехословакии, может быть там в темноте он и был. (Я допускаю, что он и Хозяев обманул: он и им ещё из Цюриха соврал, что задание выполнено, познакомился. А так как его местонахождение всегда было Хозяевам известно, и на мартовскую встречу к Голубам и в галерею он по времени не попадал — вот он их и перенёс.)

Но что правда — очень он добивался познакомиться, фрау Голуб уж так за него ходатайствовала: замечательный чешский поэт, и мечта его — перевести на чешский «Прусские ночи»; правда, русский у него не силён, но мы ему подстрочник сделаем. Ну, пусть попробует. Но для этого он должен с вами встретиться и познакомиться, он так жалеет, что не попал на нашу встречу. Нет. Прошло время: он переводит! но должен с вами познакомиться! Не сейчас. Так и отвёл я, в глаза не видел. Вдруг настояния участились, участи-

---

\* Теперь-то, от тогдашнего ростовского майора КГБ Бориса Иванова, мы прямо знаем («Бодался телёнок с дубом», стр. 678), что в Ростов Ржезач приехал в компании с руководителем московской спецгруппы ГБ и с майором чешского ГБ Вацлавом Шилеа. Там Ржезача «знакомили с отобранными руководителем спецгруппы материалами, которые тенденциозно, однобоко преподносились Томашу. Такой сценарий применялся во всех случаях, ибо на этот счёт всегда имелась строгая установка центра. В результате... появилась книга Томаша Ржезача...».

От Бориса же Иванова посмертно дошла до меня его собственноручная записка (позже, чем его воспоминания, так что не попала она на своё место в «Телёнке»), где он перечислил участников попытки убить меня в 1971. Приехавший из Москвы руководитель группы — Рогачёв Вячеслав Сергеевич, имел «прикрытие АПН», то есть удостоверение и визитную карточку корреспондента АПН. Убийца-исполнитель — «подполковник Гостев, имя, кажется, Виктор. После операции был направлен резидентом контрразведки в Болгарию» — вон куда после неудачи со мной потянулся след улучшенного «болгарского зонтика», убившего-таки позже в Лондоне Георгия Маркова! Там Гостев «вёл работу среди советских граждан и иностранцев на Золотых Песках, его резиденция находилась в г. Варна». И ещё — «помощник Рогачёва — Гусев Владимир». (Примеч. 1994.)

лись — затем приходит фрау Голуб с большими глазами: «Исчез. Жена в отчаянии, труп ищут в Цюрихском озере». А через день взбурлила вся чешская колония: выступил по пражскому радио! (То-то и торопился познакомиться.)

Но поэту-комбинатору не трудно и сочинить. Наружность мою? — брать с фотографий, их много. Что я ему говорил? — тянуть из моих книг. И во многих случаях он так и подставляет кусками, чуть переиначив, — из «Телёнка», из «Письма вождям», или модулирует «Из-под глыб». Лишь более интимное, глубоко-приятельское придумывает сам: «Поеду в Соединённые Штаты, хочу уничтожить Фулбрайта и [часть] сенаторов». Но чего Сума не вытянул — это быта моего семейного и дома. Ещё когда я где-то ездил, то можно уследить по газетам, и: «в Америке Солженицын посещал учреждения, которые так или иначе подвластны ЦРУ» (именно: Сенат, Библиотеку Конгресса, профсоюзный центр, Колумбийский университет, Дивеевский монастырь и Толстовскую ферму). Но — когда я в Цюрихе и дружески с ним общаюсь? Вот тут, не обессудьте, ничего не мог придумать Сума — ни домашних, ни единой комнаты в моём доме, ни мебели, не наскрёб ни осколка. И сочинить мог только стандартно-детективное: задёрнутые занавески машины, в сопровождении двух чехов-телохранителей (ни занавесок никаких, ни телохранителей никогда) уезжал «каждое утро на дачу», место которой «держалось в строжайшем секрете даже от жены». (Только фотографии наши с ней там печатались в журналах, да под Четвёртым Дополнением «Телёнка» подписано: *Штерненберг*.)

Так мой «сотрудник по Цюриху» чего совсем не берётся рассказать — это о Цюрихе.

Зато обо всей остальной моей жизни — лавину. Правда, извините, не по порядку: что-то «мне не захотелось писать биографию такого низкого человека, как А. Солженицын. И несколько изменив литературную форму... я отказался следовать строгой хронологической последовательности».

О да, конечно. Так — насколько же легче! Ось времён — это непроглотный стержень, его не согнёшь, не угрызёшь, не пропустишь, вечно привязан к этим точным датам, точным местам, пришлось бы описывать совсем ненужные периоды — как этот Солженицын выбивался на фронт из обоза или как умирал в раковом корпусе, ссыльный и одинокий.

И Сума избирает такой приём: поэтический хаос. Одни и те же эпизоды в разодранном виде разбросать по разным частям книги, чтоб их казалось много похожих и не было бы охотников взяться за труд — снова их собрать и сопоставить. И одни и те же заклинания в разных местах повторять и повторять для убедительности. На свободе от хронологии и системы — все построения Сумы. Но упрощая задачу читателю, выделим всё главное, что удалось ему открыть:

1. Дед — грозный тиран округа, таинственно исчезнувший.
2. Отец — белогвардеец, казнённый красными.
3. Дядя — разбойник.
4. Солженицын рос с детства припадочный.
5. С детства же — антисемит.
6. С детства же — патологический честолюбец.
7. Трус. «Самый трусливый человек, которого когда-либо знали».
8. Вор.
9. Развратник.
10. Писатель-предатель.
11. Сел в тюрьму нарочно: хитро подстроил собственный арест в конце войны.
12. Старался засадить в тюрьму друзей и знакомых (но КГБ никого не тронуло из доброты и мудрости).
13. Весь лагерный срок — ретивый стукач.
14. Лицемерно искал одиночества под предлогом писательства.
15. Все книги, особенно «Архипелаг», написаны из злобы и честолюбия.

16. «Для солженицынского литературного метода типична конъюнктурная ложь».

17. Мерзким трюком соблазнил почтенное КГБ захватить свой литературный архив.

18. Подлым приёмом уклонился от поездки за Нобелевской премией.

19. Хитрым манёвром вынудил КГБ захватить спрятанный «Архипелаг» — и так заставил выслать себя из Советского Союза.

20. «Во всём, что говорит и пишет Солженицын, проявляются верные признаки душевной болезни. Представляет интерес лишь для психиатра». (Последний диагноз — был бы очень подходящий, только *до* высылки.)

Далеко-далеко ещё не все результаты исследования, но главные — тут.

Теперь — метод доказательств. Он напоминает дореволюционный юмористический спектакль «Вампука». Например, там показывалось бесконечное гордое оперное шествие воинов таким образом: всего была их полудюжина, они величаво прошагивали по сцене, а потом за кулисами, согнувшись, но видимо для зрителя, быстро трусили в затылок заднему.

Так и у Сумы. Собрать бы всех свидетелей жизни Солженицына — это необозримо, из сердца выбьешься, сколько лишних имён, не всех и найдёшь, а кого стал бы спрашивать — ещё подходящее ли покажут? Ещё не побрезгуют ли с тобой разговаривать? Как бы для осторожности обойтись полудюжиной, зато надёжных? И вот среди особенностей фантастически-зловредного Солженицына открыл Сума такую: всю жизнь его сопровождали только школьные друзья: Кирилл Симонян, Кока Виткевич, Шура Каган да жена Наташа Решетовская. А за этим кругом не было у Солженицына ни студенческих однокурсников, ни профессоров, никто с ним не воевал в одной части, не знали его ни десятки офицеров, ни солдаты. Не знали его ни однокамерники, ни однолагерники, ни односылники, ни учителя, ни ученики по школам, где преподавал, ни знакомые литературных лет (только разве Лёва Копелев). Нет, правда, одну сокурсницу Сума всё-таки нашёл: запомнил её редкое имя Мария, а отчества, простите, не запомнил, а что у людей ещё бывает и фамилия, Сума вообще не знал, так тем более не спросил, даже и не извиняется (стр. 111). Зато эта Мария поведала чрезвычайно ценный эпизод из юности Солженицына: как *она ему* рассказала сказку о крокодиле и скорпионе (скорпион — разумеется, Солженицын). Вот и всё. Зато уж те, школьные, друзья — пойдут теперь через всю книгу. Они — проверены, обо всех заранее известно, что согласны, что сотрудничают (Виткевич давал несколько интервью, Симонян — собственную брошюру против Солженицына написал, Решетовская — книгу, а сейчас благодарит её Сума за любезное разрешение строить на той книге и новое повествование).

Но опорочить человека только с детства и только по смерти — этого тоже недостаточно. С тех пор, как марксистское мышление стало господствующим в нашей стране, техника опорочения всегда начинается с родителей и прародителей. Этому рецепту следует и Сума. Однако по материнской линии не так привяжется, фамилия не та, и потому Сума минует деда по матери, Захара Фёдоровича Щербака, действительно богатого человека (впрочем, пастуха из Таврии, разбогатевшего на дешёвых арендных землях северо-кавказской степи) и которого, действительно, на Кубани в округе многие знали со стороны щедрой и доброй (после революции 12 лет бывшие рабочие его кормили). А всё имущество его — 2 тысячи десятин земли и 20 тысяч овец, приписывает деду по отцу, Семёну Ефимовичу Солженицыну, рядовому крестьянину села Саблинского, где таких богатств и не слышали никогда, и приписывает ему же 50 батраков (ни единого не было, с хозяйством он управлялся сам и четыре сына): «человек, прославившийся своей жестокостью далеко за пределами собственного поместья» (то есть хутора, а жестокостью — к своим детям? к домашним животным?), «крупный землевладелец, который мог позволить себе всё» (и что же именно? оказывается: отдать младшего сына в гимназию, потом отпустить в

университет, — всё та же дремучая легенда, что в России учиться могли только дети богачей, а в России учились многие тысячи «медногрешёвых» и многие — на казённое пособие). Но — что бы ещё о нём солгать? — ведь всё-таки дед по отцовской линии — это славное будет пятно. Но — что солгать о старом крестьянине, не выезжавшем из своего села? И сочиняет гебистский коллектив: «После Октябрьской революции он долго скрывался и затем исчез бесследно».

Ври на мёртвого! Семён Солженицын как жил в своём доме, так и умер в нём — в начале 1919 года. В Саблю Сума не ездил (туда дорога очень тряская), не узнавал: менее чем за год семью Солженицыных тогда посетило четыре смерти (беда по беде как по нитке идёт) — они начались со смерти моего отца 15 июня 1918 года, и в этой быстрой косящей полосе выхватили другого сына, Василия, и дочь Анастасию, и старика-отца.

В семью Солженицыных настолько Сума не вникал, что даже не знает ни имён братьев отца, тем более сестёр, ни — сколько их было. Но о каком-то брате, «мне к сожалению не удалось установить ни даты его рождения, ни даже его имени», пишет: «он был бандитом. Выходил на большую дорогу, чтобы грабить путников и повозки. Никто никогда не узнает, как он кончил». Впрочем: «это лишь неподтверждённое предположение» (стр. 24).

Ай, Сума, но зачем же неподтверждённое предположение в такой научной книге? Ведь оно не украшает. Два оставшихся брата Солженицыных, Константин и Илья, продолжали крестьянствовать в Сабле до самого прихода разбойников-коллективизаторов. Один, к счастью для него, умер перед самым раскулачиванием, а всю его семью и другого брата сослали в Сибирь в том потоке.

Тем не менее удар кисти состоялся, и какой эффектный: Александр Солженицын просто из рода разбойников! И это составит «ещё один глубокий шрам: Солженицын не может, как другие молодые люди, гордиться своими родными... Страх разрастается до гигантских масштабов».

Это скрывать! Не богатого деда, не отца-офицера, — скрывать дядю-бандита! Лепечущий напев для тех, кто не знает, что бандиты были любимыми членами большевизской партии до революции («экссы») и успешливыми сотрудниками ЧК после неё — сколько же их повалило в ЧК! Бандиты — шаловливые герои советской литературы в эпоху её расцвета. Уголовники всегда были для советской власти «социально близкими».

Но чернедь — не чернедь, если она не промазана через отца. Главное — отец. Какую же ложь выдвинуть о нём? Хронология очень бы мешала Суме, а без неё он может делать лёгкий передёрг: будто отец мой умер не за 6 месяцев до моего рождения, а через 3 месяца после (без даты, конечно), и это «известно достоверно» — и этим сюжетным ходом он вдвигает папину смерть в разгар гражданской войны — на март 1919. Время смерти само подталкивает: должен стать лютым белогвардейцем и быть убит красным мечом. И всё же гебистский коллектив не споровился бы лучшим образом, если б на помощь не поспешил Кирилл Симонян. Сперва в своей брошюре, затем и в долгих дружеских беседах с Сумой он распахнулся издушевно: «Таисия Захаровна (моя мама. — А.С.) ему одному [Симоняну] поведала, что Исай Семёнович Солженицын во время гражданской войны был приговорён к смертной казни».

Вот даже как: не в бою честном убит, но — казнён. И вот как: сыну родному мать не сказала, и никому на земле, но чужому мальчику, чтобы тот донёс до потомства.

...Ах, Кирилл, Кирилл! Как же язык твой извернулся оболгать мою покойную маму, покойного отца — и за что? В одной ли уверенности, что твоя жизнь уже никогда не пересечётся с ними?..

Я с волнением переносишь на 50 лет назад в ту эпоху, конца НЭПа, первой пятилетки, — кто не дышал переливами её жестокого воздуха, тот не знает. Вот и ещё пишет чекистский перебежчик: что у мальчика висел над столом портрет отца, царского офицера, и он ему поклонялся. Да виси тогда такой портрет, то лишь до первого захожего — и разгромлена была бы эта квартира и быть может арестована мать. Царский, не царский, — слово «офицер» было

леденящим сгустком ненависти, его нельзя было вслух произнести среди людей, это была уже — контрреволюция. Незадолго перед тем офицеров уничтожали десятками тысяч подряд, не разбираясь, топили баржами. Фотографии моего отца мама сохраняла только студенческие (и то были допросы: что это за форма?), а три военных ордена его за германскую войну у нас были закопаны в земле. Ведь Россия была в беспамятстве, да что я! — само слово «Россия» без прилагательных «старая, царская, проклятая» тоже было контрреволюцией, только в 1934 это слово нам вернули.

И я мальчиком — умел хранить тайны. В четыре года я уже видел чекистов, в остроголовых будёновках прошагивающих через богослужение в алтарь. В шесть лет я уже твёрдо знал, что и дедушка и вся семья — преследуются, переезжают с места на место, еженощно ждут обыска и ареста. В девять лет я шагал в школу, уже зная, что там меня могут ждать допросы и притеснения. И в десять лет, при гоготе, пионеры срывали с моей шеи крестик. И в одиннадцать, и в двенадцать меня истязали на собраниях, почему я не поступаю в пионеры. И чекисты на моих глазах уводили дедушку (Шербака) на смерть из нашей перекошенной щелястой хибарки в 9 квадратных метров. Я — умел хранить тайны! И знал о закопанных папиных орденах. И мама не имела оснований скрыть бы от меня подлинную смерть отца — и даже до моих 23 лет, как уходил на фронт, а открыть — однокласснику.

Но самое характерное во всех этих лжах — не подхватистость Сумы, не бессовестность Симоняна, — но безмерное надмение Победителей, Оккупантов, надмение ЧКГБ: что настолько уже огнём и мечом они прошли по России, настолько изничтожили все государственные архивы и все частные, что нигде на русском пространстве не могла уцелеть ни одна нежеланная им бумага. А уж Солженицына трепали, тягали — уж у него-то наверняка ничего нет. А у меня, стараньем покойной тётки Маруси, как раз-то и дохранилось! Хотите, господа чекисты или цекисты, — метрика Ставропольской духовной консистории (летите, выскребайте запись, рвите лист!): о рождении отца моего и крестьянском звании Солженицыных, как Семёна Ефимовича, так и Пелагеи Панкратовны? Хотите — обыкновенное гражданское свидетельство, удостоверение причтом Вознесенского собора города Георгиевска, Владикавказской епархии, Терской области, о смерти отца моего от раны 15 июня 1918 и погребении его 16 июня на городском кладбище? Как понимаете, ваши ревтрибуналы, расстреливая у ям, не посылали за священником, дьяконом и псаломщиком.

После несчастного нелепого своего ранения на охоте папа семь дней умирал в обычной городской больнице Георгиевска, и умер-то по небрежности и неумению врача справиться с медленным заражением крови от вогнанного в грудь кроме дроби ещё и пыжа. И похоронен он был в центре города (ещё и фотография выноса гроба из церкви долго хранилась у нас), и я сам хорошо помню, как посещали мы его могилу до моих 12 лет, и где она находилась относительно церкви, пока не закатали то место тракторы под стадион. А когда после всех лагерей я приехал в Георгиевск в 1956 — сохранившиеся родственники, ближние и дальние, снова рассказывали мне о том несчастном ранении, да вот и свидетельства дали в руки.

Мне самому — нисколько не горда такая история, скорее смутительна. Когда я взялся описывать отца в те годы — студента, изрядно левых настроений, как все тогда, но на войну пошедшего добровольно, но с георгиевским крестом за растаскивание горящих снарядных ящиков, но потом председателя батареинного солдатского комитета, но досидевшего на фронте до февраля 1918, когда уже Ленин с Троцким предали и тот фронт, и тех последних солдат, и четверть России, — как силится я угадать, понять: с каким же настроением возвратился мой отец на Северный Кавказ? В начинавшейся борьбе — где были его симпатии? и поднял ли бы он оружие, и против кого именно? И как бы дальше-дальше-дальше протягивалась бы его судьба? как это мне теперь угадать? Я знаю, как неопытно, как искажённо бывает наше понимание

вещей, я и сам потом отдал молодые симпатии чудовищному ленинизму — а по сегодняшнему своему чувству, конечно, горд бы я был, если б отец мой во-евал против захватчиков, — в Белом ли движении, или ещё лучше — в крестьянском, которое четыре года трясло их коминтерновскую империю по всем раздолом, никак не давая поджечь мировую революцию через Будапешт, Варшаву и Берлин. И в той борьбе если б и убили отца — это был бы подвиг его и зов ко мне. Но нет: он умер от несчастного случая на охоте, ещё прежде, чем определились фронты гражданской войны.

Моей покойной матери бесстыжее перо Сумы коснётся потом ещё раз: «Прибыв на короткий срок из воинской части по вызову умирающей матери, он предпочёл провести ночь у возлюбленной. Мать скончалась, так и не дождавшись сына».

Но — не было такого вызова, лгун. (Да «по вызову умирающей матери» и не отпускает советский фронт.) О смерти её, 17 января 1944 в Георгиевске, я даже и не знал, письмо от тётей пришло ко мне с большим опозданием. Тяжко виновен я перед матерью, но не в том, что не приехал, а в том, что свой офицерский аттестат (он мог быть выписан лишь на одно лицо, не на два) я выписал не на мать, а на излелеянную молодую жену Наташу Решетовскую (маме только переводы) — и тем доставил военкоматское покровительство жене в казахстанской эвакуации, а не больной в Георгиевске матери. И потому мама числилась не матерью офицера, а просто гражданской женщиной. И две тётки не имели, на чём отвезти покойницу, и неоплатна была копка могилы в каменноморозной земле, и опустили её в свежую могилу её брата, умершего двумя неделями раньше, да кажется туда ж — и несколько умерших в госпитале красноармейцев.

А поездка моя на «короткий срок» была двумя месяцами позже, в марте 1944, и «ночь провёл» я не у возлюбленной, но, действительно, в очень странном месте: в высочайшем закрытом правительственном санатории Барвиха. Что за чудо, как? Сейчас, страницами позже.

Наконец от родителей повествование переходит ко мне, да к детству, да именно к старому шраму тех лет. Сперва, думаю, мысль о нём профессионально родилась у детективов КГБ при кабинетном рассматривании моих фотографий: заметный, прямо на лбу, ведь какая находка при слежке, при опознавании, а может быть и уголовную историю можно бы пристроить? Да больше того: из этого шрама можно, при умении, сделать открывающий ключ ко всей жизни преступника. Если правильно этот шрам повернуть, его можно назвать даже «духовным рождением». И вот, *единою волей*, этот шрам занял самое увертливое место — и книги Решетовской, и брошюры Симоняна, и теперь научно-углублённого труда Сумы, который, впрочем, более чем наполовину повторяет версии Решетовской: та очертила некоторые стандартные блоки, на которых затем и будет строиться вся стандартная клевета.

Никак не предполагал я отзываться на книгу женщины, перед которою виноват. Но сейчас, когда она органически вплелась в слишком серьёзный ряд, приходится нечто и сказать. Задачи «живого свидетельства» в ней понята странно: большая доля посвящена событиям, которым Решетовская никогда не была свидетелем. Она берётся описывать лубянскую камеру, быт на шарашке, вообще лагеря, прототип Шухова искать в батарейном поваре (никогда им не был). Описывает мою трёхлетнюю ссыльную жизнь, будто была её соучастницей, будто не именно там покинула меня, душимого раком и в непрорываемом одиночестве. И даже историю моей болезни берётся излагать, о самом смертном моменте, декабрь 1953: «состояние приличное». Напротив, шесть последних лет, после 1964, нашей совместной интенсивно-мучительной, раздирающей жизни перед разводом — обойдены вовсе, тут книга обрывается.

Даже трудно поверить, что писал человек, бывший мне близким. Так отдалённо-отстранённо упоминает смерть моей матери, как будто совсем не имела на ту судьбу влияния. Никогда не заметила никакой внутренней линии моей жизни, ни страсти к поиску исторической правды, ни любви к России, всё это заменено единственным движущим мотивом — «быть наверху». (А легче всего мне было, после хрущёвской ласки,

остаться «наверху» и помогать казённым перьям.) Книги мои цитирует недобросовестно, с натяжкой обращая цитаты против меня.

Но обо мне — пусть и всё это, и хуже. Однако в какой чёрный момент не остановилась она перед нашим братским могильником, откуда уже никто не простонет, — и публично назвала «Архипелаг» сборником лагерного фольклора, разукрашенных рассказов неизвестных людей, произвольно нанизанных мною. (Именно в те годы, когда я собирал показания, она отвращена была от моей работы, отталкивалась от неё, не знала тех расспрошенных эзков и ни при одном рассказе не присутствовала.)

С тем большей лёгкостью рисует она трогательную заботу КГБ, защищающую честь невинных\*.

Итак, отчего ж этот шрам? О, это леденящая загадка. Оказывается, Наташа Решетовская, с этим тёмным человеком состоявши в браке, с перерывом на другое замужество, 25 лет, а проживя вместе 15, никогда (по деликатности, по нерешительности?) не осмелилась спросить у мужа: от чего этот шрам? (Разумеется, узнала в первых же студенческих переболтках. Сама ли пишет, пером ли водят, задумались бы: что пишут? Какое ж это замужество, если у мужа стыдно спросить о шраме на лбу?)

Итак, по сюжете, загадка о шраме продолжала и продолжала мучить Наташу — и вот, рассказывает она в своей книге, через многие годы, уже после развода, осмелилась спросить о том друга нашей общей юности Кирилла Симоняна. А Кирилл — возьми да и знай. А Кирилл — к тому же и врач, да не просто хирург, но универсальный профессор медицины, который знает всю её и вокруг неё и особенно психологию, патопсихологию, фрейдовский психоанализ и всё, что может пригодиться. И он с лёгкостью даёт объяснение мучительной загадке: Солженицын в детстве был очень впечатлителен, не переносил, когда кто-нибудь получал оценку выше его (впрочем, таких и случаев не было), — становился белым как мел и мог упасть в обморок. Но как-то учитель Бершадский начал читать ему нотацию, и от этого Солженицын упал-таки в обморок и рассек лоб о парту.

Вот и прекрасный старт для безмерного честолюбия насквозь всю жизнь. Вот что может дать один только детский шрам!

Может, но при условии дружной согласованности всех служебных шупальцев КГБ. А это, увы, как раз и не случилось. Через три года появился (может быть, по другому пропагандистскому отделу, может быть, не ЧК, а ЦК) собственный опус доктора Кирилла Симоняна — и о том же самом шраме тот же самый доктор рассказал совсем другую историю: «Поссорившись с Шуркой Каганом, Саня обозвал его „жидом“, тот ответил ударом. Падая, Саня рассек лоб о дверную ручку». (Внимание! выдвигаем монархо-фашиста.)

Вероятно, сами очнулись. И так как книгу Решетовской коммунистические коммивояжёры уже протолкнули по всему свету, то эссе Симоняна не выпустили дальше глухой Дании. Служебное упущение, кого-нибудь и наказали. Но Кирилла Симоняна, заступимся, нельзя упрекнуть: дело в том, что об этом школьном случае он действительно никогда достоверно не знал: случай произошёл 9 сентября 1930 в классе 5 «а», в самом начале учебного года, а Кирилл только в этих днях впервые перевёлся из другой школы, да в класс 5 «б», был ещё робким новичком, он и не видел и слышать толком не мог. Так что для ЧК или ЦК он мог бы дать ещё третью или четвёртую версию. Но вопрос в том — какая всего полезнее? Полезнее теперь эти две разошедшиеся увязать — и кто же это сделает лучше самого Симоняна?

И доктор Симонян, диагност и эрудит, легко даёт теперь Суме профессорское решение: сперва Солженицын побледнел от уязвлённого самолюбия («страшно было смотреть»), а затем уже проорал антисемитский выкрик. А тогда Каган его толкнул — и так он разбился лбом о парту. (Если толкнул — очевидно, всё-таки, спереди? — то можно разбить только затылок?)

\* Теперь опубликован ряд официальных документов касательно книги Н. А. Решетовской, например [23]. (Примеч. 1995.)

Ну да Сума имеет же возможность ещё поехать в Ростов-на-Дону и с помощью ГБ разыскать действительного второго участника того случая — Шурика Кагана. И из допроса его решительно выводит: всё подтвердилось! И даже выносит из этого интервью новые украшения: за несколько дней до события четыре верных друга — Каган, Солженицын, Симонян и Виткевич, надрезают свои пальцы старым скальпелем, смешивают кровь и клянутся в братстве. И вот теперь тот же Бершадский из-за антисемита Солженицына навсегда исключает Кагана из школы «имени Малевича». (Никогда такой школы не было. Сума полагает, наверно, что это — художник, а то был уже уволенный за политическую неблагонадёжность прежний директор школы, а была школа — имени пса Зиновьева, но тоже разжалована.)

Иван Иванович фан-дер-Флит  
Женат на тётке Воронцова.  
Из них который-то убит  
В отряде славного Слепцова\*.

Однако клятвы тех четырёх мальчиков не то что в те дни, но ни в том году, ни в следующем быть не могло по той нескладице, что Виткевич эти годы учился в Дагестане, а Симонян сроду в мальчишечьи игры не играл.

Но был действительно отряд.  
Да только вовсе не Слепцова:

со многими мальчишками, вооружённые деревянными мечами, мы захватывающе играли в разбойников по заброшенным подземным складским помещениям, каких немало в ростовских дворах, и среди тех мальчишек действительно был Шурка Каган. И он предлагал: украсть на Дону лодку и бежать в Америку.

А 9 сентября он принёс в школу финский нож без футляра (вот откуда у Сумы и выплыл «старый скальпель») — и мы с ним, именно мы вдвоём, стали с этой финкой неосторожно играть, отнимая друг у друга, — и при этом он, не нарочно, уколол меня её остриём в основание пальца (так понимаю, что попал в нерв). Я испытал сильнейшую боль, совсем не известную мне по характеру: вдруг стало звенеть в голове и темнеть в глазах, и мир куда-то отливать (та самая «страшная бледность», в которой меня уличили). Потом-то я узнал: надо было лечь, голову вниз, но тогда — я побрёл, чтоб умыть лицо холодной водой, — и очнулся, уже лёжа лицом в большой луже крови, не понимая, где я, что случилось. А случилось то, что я как палка рухнул — и с размаху попал лбом об острое ребро каменного дверного уступа. Разве о парту так расшибёшься? — не только кровь лила, но оказалась вмята навсегда лобовая кость. Перепуганный тот же Каган и другие, не сказавшись учителям, повели меня под руки под кран, обмывать рану сырой водой, потом — за квартал в амбулаторию, и там наложили мне без дезинфекции грубые швы (советская бесплатная медицинская помощь), — а через день началось нагноение, температура выше сорока и поболел я 40 дней.

А как же — антисемитский выкрик и увещания Бершадского (у Сумы сцена написана так, будто допрос происходил ещё при льющей со лба крови)? А это было — полтора годами позже, и выкрикнул совсем другой мальчик — Валька Никольский, и совсем третьему, Митьке Штительману, они и дрались и взаимно ругались, крикнул и тот о «кацапской харе», а я сидел поодаль, но не выказал осуждения, мол, «говорить каждый имеет право», — и вот это было признано моим антисемитизмом и разносили меня на собрании, особенно элоквентный такой мальчик, сын видного адвоката, Миша Люксембург (впоследствии большой специалист по французской компартии). А Шурик Каган во всей той следующей истории был совсем ни при чём. И Александр Со-

\* Цитируется стихотворение А. Апухтина «Кумушкам». (Ред.)

ломонович Бершадский действительно со мной беседовал и своею властью (завуча, а не классного руководителя, как плетёт Сума) и своим пониманием пригасил дело, сколько мог.

А как же — исключение Кагана из школы за толчок меня к парте? А это было *через два года*, в сентябре 1932, и исключали из школы (тот же Бершадский) нас троих — именно: меня, Кагана и ещё Мотьку Гена, а исключали нас за систематический срыв сдвоенных уроков математики, с которых мы убежали играть в футбол. Я же — ещё и классный журнал похитил, где был записан дюжину раз, и закинул за старый шкаф. (Неукоснительно отказывая мне в чём-либо человеческом, а только змеиное прилепляя, — даже и тут изльгает Сума, что я на футбол не бегал, а оставался на уроках. А вспомнить этот наш футбол! — ведь в ограде закрытой недоразрушенной тогда церкви Казанской Божьей Матери, на площадке у бокового притвора, ударяя мячом то в решётчатое оконце, то в надгробные камни священнических могил. И это — я, ещё два года перед тем ходивший с мамою в последний незакрытый собор, и всё это — соединяется в легконосимой мальчишеской груди — ау! корнер! пенальти! — свищет над Русью ветер запустения, из-под которого, кажется, она никогда не встанет.) Грозно объявил Александр Соломонович наше исключение (как раз в те дни только и появился первый указ о праве исключать, в предыдущие годы и исключать не имели права, Сума опять не сверился со святыми) — и мы с Каганом и Геном, убитые, ничего не говоря дома, дня три приходили под школу сидеть на камешках, пока девчёночья «общественность» не составила петицию, что класс «берёт нас на поруки», — и Бершадский дал себя уговорить.

И справками, в конце концов,  
Одна лишь истина добыта:  
Иван Иваныч Воронцов  
Женат на тётке фан-дер-Флита.

И за всё это, пишет Сума, я «отомстил» Кагану через 30 лет: такую фамилию (редкую, как Иванов) дал стукачу в «Круге первом».

Но чем ближе к литературным занятиям этого треклятого Солженицына, тем неизбежнее должен открыть Сума и движущие его мотивы, источники фальшивого вдохновения (сожигающее честолюбие) и принцип выбора тем (что-нибудь, «что наиболее модно в данной ситуации»), да и — наставников его первых шагов. А наставники, оказывается: прежде всего Кирилл Симонян, потом Кока Виткевич и Шурик Каган, хоть он уже в другой школе, потом и мы по разным институтам (неважно, это нужно для вампукского шествия воинов). И долгие годы они собираются исключительно всегда на неметеных ступеньках проходной железной лестницы в многолюдном дворе Симоняна — и именно только им и только туда приносит Солженицын на суд свои творения и именно здесь он всегда получает достойный суровый приговор, который ещё мог бы его спасти от губительных литературных увлечений. И именно здесь, над первыми главами самсоновской катастрофы (значит, уже им по 19-20 лет, студенты, но всё на той же дворовой лестнице), «они совершенно независимо один от другого откровенно и прямо сказали Солженицыну: „Слушай, Саня, брось! Пустая трата времени. Сумбурно как-то. Не хватает у тебя таланта”».

И вот это — и был момент рождения писателя-предателя (сперва — друзей, потом — родины, потом всего человечества)! «Это смертельно ранит Солженицына. Он вознамерится отомстить друзьям», что и станет ведущим импульсом всю его остальную жизнь. «С того момента, как Кирилл произнёс свой окончательный приговор литературным способностям Солженицына, Александр питал к нему бессильную злобу и почти животный страх. Страх! Он по-настоящему стал бояться открытого и пронизательного взгляда Кирилла Симоняна... Как ему спрятаться от мудрого взгляда по-южному тёмных и горящих глаз Кирилла Семёновича Симоняна? Они всегда будут напоминать ему о его собственном ничтожестве» (стр. 41). «Солженицын испытывал непреодо-

лимый страх перед силой иронии и ума этого известного хирурга и высокоинтеллигентного человека». «Вероятно, он и поныне готов пожертвовать половиной Нобелевской премии, чтоб услышать положительный отзыв понимающего толк в литературе Кирилла Семёновича. Однако профессор Симонян и в зрелые годы не изменил своего мнения: Солженицын — не художник и никогда им не будет». «Как художнику — ему нечего сказать», поэтому он и бросился на «ту вонючую кучу, каковой является „Архипелаг ГУЛаг“».

Да Сума всё более склонен передать все объяснения профессору Симоняну, которого и представляет читателю щедро: «Мечтательная глубина его тёмных глаз с годами обретает жизненную мудрость. Он армянин, но вопреки всем анекдотам об армянской изворотливости — он бесхитростен, ничего не утаивает и добивается победы. Для него ставка в игре — не только его научная карьера, но прежде всего он сам. В отличие от Солженицына он — *личность*».

И вот постепенно, в ряде дружеских встреч, начиная с осени 1975 (как задали эту книжку), профессор Симонян растолковывает схватчивому Суме все главные события жизни Солженицына и вообще — что такое он есть. «По авторитетному мнению профессора Симоняна бледность и обморок — это приобретенный рефлекс, который Солженицын научился вызывать без малейших усилий... Я смотрю на Солженицына глазами врача. Его судьбу предопределил его генетический код. Солженицын наделён комплексом неполноценности, который выливается в агрессивность, а та в свою очередь порождает манию величия и честолюбие». (Не попеняем на неполную оригинальность этой фрейдистской азбуки. Но заключение о моей душевной болезни — выше, пункт 20-й, — тоже Симоняна, хорошо, что он — не в институте Сербского.)

Подходит время узнать, как я вёл себя на войне? Так опять же это лучше всего объяснит нам профессор Симонян, потому что: «Симоняна профессия хирурга естественно привела в медсанбат. Особенно в первый период войны это была жизнь далеко не безопасная. Кириллу Семёновичу иногда приходилось откладывать скальпель и брать в руки автомат, чтобы разить врага вместо того, чтобы оказывать медицинскую помощь раненым».

Что ж, картина для 41-го года верная. Но, увы, маленькая поправка: первый период войны, как впрочем и второй и третий, Кирилл на фронте не был. Весь 1941 год он ещё учился в Ростовском мединституте. По его окончании с каким-то медицинским полномочием отправился в Среднюю Азию, прожил там 1942 и часть 1943. Лишь в 1943 попал в некий госпиталь, о котором рассказывает Суме, что там они вместе с Лидией Ежерец получали мои безрассудно-неосторожные письма. Да что ж это за госпиталь такой фронтовой, где постоянно находилась и гражданская Лида, московская литературная аспирантка? А... гм... вот это и был правительственный санаторий Барвиха. Отец Лиды, доктор Ежерец, в то время был его главным врачом. И взял к себе из среднеазиатской эвакуации своего предполагаемого будущего зятя Кирилла. Тут Кирилл и прослужил до осени 1944 года, когда и на самом деле отправился на фронт. Таким образом, стаж для военных суждений у Симоняна получается несколько коротковат.

Ну что ж, тогда Сума возьмёт их на себя. Кто-то ему рассказал из уставов, и он трактует мою службу так: «Артиллерийский разведывательный дивизион находился в резерве Верховного командования. Это означало: только Генеральный штаб и Верховный главнокомандующий (как близок в это время по службе Солженицын к Сталину!) были правомочны принимать решение о месте и времени его использования. Он был строго засекречен. Узнай о нём враг... (далее — перечень ужасов)... Командир батареи звуковой разведки обязан отступать при малейшем колебании переднего края: нельзя рисковать чрезвычайно дорогой техникой».

Не знаю по-чешски, а по-русски: читает как сом по Библии. «Резерв главного командования» — это общее название всей артиллерии, старше чем дивизионная. Во множестве распределена она по всем фронтам, практически распоряжаются ею армии и корпуса. Так и нашим разведдивизионом; звукоба-

тарей оперативно подчиняют тяжёлому артиллерийскому полку, и она делит с ним удачи и невзгоды, обстрелы, бомбёжки, движение через минные поля, переправы, а на плацдармы, по своей лёгкости, высовывается без пушек, вперёд. Конечно, при всех случаях, это не пехота. Но и распоряжения такого идиотского — отступать при малейшем колебании переднего края, никогда не бывало, а очень даже сидели на месте и только раненых отвозили. Наша техника СЧЗМ-36, станция 1936 года, отлично была немцу известна, он в 1941 её штабелями набрал, но не нуждался он её ни копировать, ни использовать, потому что и у самого равноценные были. И таких звукобатарей не одна была, и не под самой дланью Сталина, а более 150, так что на каждые 10 километров фронта была своя звукобатарея, и её захват ничего бы решительно не объяснил немцам из нашей стратегии.

Вот с таким знанием предмета и на таком уровне понимания и составлена вся эта гебистская книжка.

Однако пылкий Сума уже имеет все материалы для суждения: в конце 1942 Солженицын становится командиром батареи звуковой разведки (стр. 61), в 1943 Солженицын «ещё чувствовал себя в привычной роли курсанта» (? — стр. 62, очевидно, сказывается коллективное сочинительство), «в 1943 для Солженицына выгоднее быть исполнителем и верным офицером Красной Армии. Никогда его жизнь не находилась под непосредственной угрозой». «В 1943 — 44 Солженицыну в армии нравится» (стр. 65). «Вдалеке от непосредственной опасности, окружённый четырьмя (!) услужливыми адъютантами (это при 60 человеках всего в батарее), Солженицын живёт как истинный внук богатого землевладельца». Даже: «ни разу не участвовал в боях» (стр. 72). (Ну, там ещё, может, какие ордена, но это — не те клетки.)

Боже, как скучно. Боже, как память у них скудна. До чего ж непробиваемы и неусвояемы их бараньи лбы! Когда пустили первую сплетню о моём плене и гестапо, то в комитете по ленинским премиям знаток литературы, генеральный секретарь комсомола, высунулся с этой фигой — и поднялся Твардовский в свой внушительный рост и в полный свой голос прочёл из моего реабилитационного свидетельства (Верховный суд СССР, определение № 4н — 083/57 от 6 февраля 1957):

«Из боевой характеристики видно, что Солженицын с 1942 года до дня ареста, то есть до февраля 1945 года, находился на фронтах Великой Отечественной войны, храбро сражался за Родину, неоднократно проявлял личный героизм и увлекал за собой личный состав подразделения, которым командовал. Подразделение Солженицына было лучшим в части по дисциплине и боевым действиям».

Слышали — и всё забыли! И — опять сначала, с другого конца. (Есть, конечно, и такой выход: разогнать свой Верховный суд.)

Да и Сума: не слишком ли много дал хронологии? куда она заведёт? И так, в 1944 Солженицыну в армии нравится, полная безопасность, даже ни одного боя. А дальше — наступление на Восточную Пруссию, и «во время одной из контратак его батарея попадает в окружение».

— Интересно бы: когда именно?

— Ну, какое это имеет значение?

Я всё же помогу: в ночь с 26 на 27 января 1945 между деревнями Адлиг Швенкиттен и Дитрихсдорф.

Но откуда же этот прохода знает об эпизоде и даже название Адлиг Швенкиттен? А — из «Архипелага» (ч. I, гл. 6), я ж это всё и описал. (Только Дитрихсдорфа не назвал — вот и у Сумы нет.)

И вот: «Капитан Солженицын бросает людей, дорогостоящую технику и спасается бегством. Им овладевают чувства паники и животного страха. Он не должен погибнуть! Он — нет... Солженицын бежит в безопасное место. Это — риск быть расстрелянным. Но ему везёт. Есть верный сержант Илья Соломин. Он выведет из окружения технику и людей, и Солженицыну всё сойдёт с рук».

Те-те-те... так тут групповым расстрелом пахнет? Если командир батареи бежал — то ведь ещё остаются два боевых офицера (иногда и третий — звуко-техник), ещё старшина, — и где ж они все, тоже сбежали? — если всю батарею выводит помкомвзвода Соломин?

И — откуда же Сума мог это всё взять? Чтобы такое сочинил Соломин — никак не видно из книги, даже, видать, и не разговаривал (нет ему благодарности от Сумы). Ни вообще единый человек из батареи или дивизиона, ни из офицеров, ни солдат. (Большинства он не нашёл, а к кому, может, приставал — те побрезговали грязной Сумой.)

И остаётся допустить чистое видение, духовное прозрение в ту ночь десятилетнего пражского мальчика. Интересно, как объяснили бы это Фрейд и доктор Симонян?

А ночь была — незабываемая, она и сейчас стоит как живая. И сколько раз я порывался её описать: сперва, ещё в лагере, четырёхстопным хореем, продолжением «Прусских ночей», и уже написал кое-что, но не сохранил, и из памяти стёрлось. И потом — в ссылке начинал, в прозе, но другие сюжеты выдвигались важнее, так никогда и не собрался. А всё особое чувство, какое к Восточной Пруссии возникло, — улилось в «Август». И осталась та ночь только в прорезанной памяти.

Тёплый пасмурный вечер, в который мы передвигались к боевому порядку, растянулся в ярко-лунную ночь. Совершенно пустой от жителей — да и от наших солдат — Дитрихсдорф, и в нём — помещичий дом как дворец, за весь прусский ход мы такого не видели, а теперь зимняя луна заливала его колонны и широкую лестницу, и внутри освещала залы, пока не зажгли мы свечи и аккумуляторные лампочки. Конечно, тут мы и развернули центральную станцию, и с изумлением бродили по этим залам. За две недели движения братва уже насытилась прусским изобилием, никто особенно не трофейничал, да не до этого и было, тревожно. Такой порывистый наш мах к Балтийскому морю, край отрезанных немцев загнулся, исчез, и наступила пустотная тишина. (По беспечности оголенного наступления вся наша 68-я пушечная артбригада в ночь с 26 на 27 января была брошена в вакуум; без каких-либо сведений о реальной обстановке, без пехотного прикрытия и как раз под направление прорывного удара окружённых в Пруссии немцев.) Нашей пехоты нигде не оказалось, передний край противника был не известен никому и ни светом, ни звуком себя нигде не выдавал. Но приказано было мне именно на этом рубеже к одиннадцати часам вечера развернуть звукопосты — за всю войну впервые лицом на восток! а то всегда бывало на запад. И звукопосты потянули кабель в свой обычный веер — но куда же Предупредитель (передовой наблюдательный)? Прямо на восток от нас простиралось большое заснеженное озеро. Лейтенант Овсянников, командир линейного взвода, взял автоматчика и пошёл посмотреть, что делается на том берегу в отдельном домике. Хотя луна продолжала светить, иногда застилаясь проходящими облаками (как это пересвечивало по колоннам!), но вдаль не хватало света, и ушедшие постепенно растворились там.

А тут, в нашем неожиданном дворце, нашлись неисчислимые (на советский взгляд) запасы продуктов в погребах, более всего домашние консервы всех видов; разогрев в воде банку, оттянув резиновую прокладку, можно было вывалить на тарелку почти шипящие, будто только что сжаренные котлеты. Грели, открывали, бродили лунатиками по необычным залам, за инкрустированными столиками серые шинели поглощали заморскую снедь, — что там будет через полчаса? (Эти впечатления влились и в «Пир победителей», хотя там — другая ночь, в штабе дивизиона, где, действительно, ужинали на зеркале.)

Овсянников с автоматчиком долго не шли. Потом они показали — точкою, затем удлинённую странной формой, и уже близко подошли — этой группы нельзя было понять. А — это были четверо военнопленных, только что освобождённых Овсянниковым, французы, даже при луне отличался синева-

тый цвет их формы. А медленно и плотно шли они так потому, что несли на плечах убитого нашего Шмакова — старательного солдата, контуженного под Орлом, с тех пор ни разу не раненного, — чтобы смерть найти вот теперь, у одинокого прусского домика. Там были немцы, отстреливались, убежали, — но, говорили французы, они повсюду тут, и сами французы ещё не верили, что освободились. Эти французы — у всех у нас были первые в жизни, один — с аристократическим закидом головы и манерою говорить. А для них — какова эта ночь? Призрачно-лунное освобождение из плена, если тотчас и не подстрелят. Луна и облачные тени всё проходили по колоннам, пока опять затынуло сплошь (к счастью). А наш мёртвый уже лёг в кузов ЗИСа.

С этой их похоронной группы на лунно-ледяном озере начались все события ночи: беззвучное нападение большой массы на наш левый звукопост — Ермолаеву, Янченке усекли черепа лопатами. Попытался Овсянников выручить этот пост — и уже не мог продвинуться, обнаружил там целую колонну. Прометились пятна беззвучных пожаров — то слева, то справа от нас, клещами, а тишина — всё та же редкостная повсюду, и в Дитрихсдорф никто не шёл. Тут из тыла на коне примчался старшина Корнев: по дороге в лесу его молча старались перехватить — он прорвался. Пока была связь, притянутая огневицами из Адлига Швенкиттена, километра два позади, — я по телефону докладывал обо всём, но и в штабе огневого дивизиона и в штабе нашего разведдивизиона не придали значения: без стрельбы, без рёва техники — так не наступают, мерещится. Но именно так в ту ночь и пытались окружённые найти выход в Германию через наш узкий клин: без артиллерийской стрельбы, сперва большими пехотными массами. Скоро связь моя с огневицами прервалась. Стало ясно: никакой звуковой разведки вести тут не предстояло, и я, уже без связи, взял отход батареи на себя.

А от нас до Адлига Швенкиттена было две дороги, разделённые километром: севернее и южнее, обе через лес. Пока так выходило, что северная опасней, там и старшину задержали, — и я послал на больших санях, запряженных немецкими битюгами, станцию, звукоприёмники и самое ценное — южной дорогой, с другим лейтенантом, Ботневым (вот там и Соломин был). Доберясь до Адлига, они должны были прислать связного, что всё спасено. А мы тем временем сворачивали все развёрнутые линии и грузились на две машины.

Долго не было известий от наших саней, наконец прибежали северной дорогой: доехали до Адлига, хотя по пути сани разваливались в лесу, и просто плотничали, сколачивали. В Адлиге, на стоящих там вплотную двух наших огневых батареях, восемь 152-мм пушек-гаубиц, тревожно. А мы уже стянулись — и тронулись, с передним, задним и боковыми походными охранениями — северной же дорогой, лесной, не такой заснеженной, а машины буксуют всё равно, и ребята выталкивают их гурьбою, как мы привыкли, привыкли — ещё с болот Северо-Западного. От этого — получались остановки. Овсянников вёл колонну с машинами, а я с двумя солдатами замыкал, шагов на триста позади, — и идти нам приходилось так медленно, останавливаться, как будто мы гуляли ласковой ночью в светло-белесой пелене неба и поля, — а во всякую минуту выскочить могли с любой стороны и изрешетить. И вот это и было, навсегда запомнилось, — главное ощущение той ночи: своего пребывания на земле, а совсем не привязанности к ней, лёгкое тело, одолженное нам лишь временно, и осветлённая прогулка по призрачным местам, куда нас заносит случай, а всякую минуту вот мы готовы и отлететь.

Но беззадержно прошли мы до Адлига, только уже на последней поляне перед ним завязла полуторка с кухней, никак не вытолкнуть. Бросили её, пошли до Адлига. Теперь я говорил со своим штабом разведдивизиона по телефону — и по-прежнему не разрешили мне уходить из Дитрихсдорфа. Но уж и не в Адлиге теперь оставаться в обозном состоянии: отправил я ещё на полтора километра назад, за реку Пассарге, к штабу дивизиона, всю звукотехнику, ЗИС и почти всех людей, а сам с тремя остался выручать полуторку. Просил у огневицов трактор — нельзя: боевая готовность требует, чтобы трактора были

при пушках. Тут позвонил им со своего наблюдательного их лихой командир дивизиона майор Боев: «Меня окружают!» — и связь прервалась. (Убит там.) Тем более — трактора не дают. Но за это время пришёл со мной разбираться комиссар нашего дивизиона Пашкин: почему я отступаю? Сразу всё понял, под свою ответственность взял трактор — и попёрли мы за этой проклятой полоторкой, метров 400 вперёд, на виду наших пушек. Едва доехали до неё, тракторист развернулся цеплять — из белой мглы, не видно откуда, по обшивке трактора затрещали пули. Тракторист — сразу полный ход, один, как был, — и к пушкам. Но не успели мы сообразить, что дальше, и куда ж он, — слева от нас, с той южной дороги, где немцы, значит, и копились, на поляне раздалось громкое «hitta!», как наше «ура», — и десятки поднялись в маскхалатах со снега, а на пушки уже летели и огненно взрывались гранаты, так и не дав им стрелять. (Погибли семь пушек, им подорвали стволы, и только восьмую угнал наш трактор, единственный на ходу.) А нам уже не было пути в Адлиг, и малая кучка наша побежала снежною целиною под крутой укат, через какие-то ямы, загородки, где почти скатываясь кувырком, — а стреляли нам вослед сверху почему-то только трассирующими пулями, ассортимента у немцев не было, — и то, что мы видели огненно-красные чёточки ещё от вылета, — нам облегчило. (Комиссар был в полушубке, мешает, скинул — его ординарец Салиев подхватил полушубок и тащил всю дорогу.) Так, по целине, крючком километра два, мы проваливались (у меня на боку в полевой сумке «Резолюция № 1») — но опять было то же ощущение: одолженного, временного, не обязательного тела, и острота чувств, которая не страх, но та нерядовая острота, когда глотаешь опасность — а в мыслях проносятся, проносятся разные картины прожитой жизни. Но успели и через Пассарге.

За спасение батареи и техники я, вместе с ещё несколькими офицерами 68-й бригады, был в ближайшие за тем дни представлен к ордену Красного Знамени. Они и получили его вскоре, а меня в те же дни зачеркнул арест, пришедший из Москвы.

Однако вернёмся же к детективному замыслу. Итак, в 1944 году Солженицын был вполне доволен своим пребыванием в армии и абсолютной безопасностью в ней. Теперь, 27 января 1945, «история с окружением преподнесла Солженицыну урок. Солженицын обнаружил потрясающую для себя вещь: ведь он может погибнуть... Его могут убить». Такая потрясающая мысль до сих пор никак не могла взбрести в голову человеку на войне. «Солженицын не может этого допустить. Ни в коем случае! Особенно теперь, когда до конца войны, это видит каждый, остаются, может быть, недели. В такое время умирать не хочется... Но Солженицын — виртуозный интриган. Поэтому в его голове рождается вероятно самый совершенный и самый подлый план, который когда-либо был выдуман, план спасения собственной жизни».

И какой же? *Самоарестоваться!* — объясняет Суме Симонян: «Это было для Солженицына лучшим выходом из положения». Чем рисковать собою эти последние ужасные недели войны — избрать такой путь спасения: положить свою голову в чекистскую пасть. И когда ж этот сатанинский план изобретен? Очевидно, в тот же день 27-го января, ну, может быть, не позже 29-го, потому что 30 января он уже приведен в исполнение: в далёкой Москве заместитель генерального прокурора РСФСР генерал-майор Вавилов послушно замыслу ставит санкцию на арест Солженицына.

И ведь сколько же их сидит в этом гебистском отделе, и сколько наблюдающих, проверяющих просматривало эту книжёнку перед выходом, — и одни настолько ленивы, а другие настолько потеряли голову от ненависти, что не заметили этой хронологической ловушки: всё задумано и оформлено — в 3 дня!

Но — как же всё-таки Солженицыну удался этот фокус, каким способом? А: он стал писать письма, в которых открыто выражал свою ненависть к Сталину и к советскому государственному строю, чтобы цензура прочла и выхватила его. «Правда, он знал, что за подобную антисоветскую пропаганду

любого ждёт трибунал и расстрел» (стр. 81). Но и расстрел — это спасение от возможной фронтовой смерти!

И — как же вся эта операция удалась за 3 дня? Не эффективнее ли было бы просто пойти в ближайший СМЕРШ и объявиться врагом? Может быть — это ему не пришло в голову. Да-а-а... Может быть... пожалуй... Да по другим страницам Сумы (однако тогда уже не согласованным с окружением под Адлигом) получается, что эти самоубийственные письма Солженицын стал писать гораздо раньше — может быть, в 1944, может быть, в 1943. То есть именно в те годы, когда он «был доволен своим пребыванием в армии, абсолютной безопасностью», и ему не приходила в голову мысль о возможности смерти, — именно тогда-то советский гражданин придумывает такой безопаснейший выход из без того безопасного положения: *открыто объявить себя личным врагом Сталина и врагом советской государственной системы!*

Вот до какого бреда дописались лучшие чекистские головы 1977 года.

Но ведь если просто объявить себя врагом Сталина и государства — то пожалуй ещё и не арестуют, поскольку ты всего лишь одиночка? Поэтому «Солженицын намерен вовлечь в свои интриги как можно больше людей, чтобы создать впечатление некоего заговора», — уж тогда ГБ не пренебрежёт.

Именно так подкашивает Суме доктор Симонян. Он прочёл «Архипелаг» — и стало ему окончательно понятно, что вело этого безумца, предателя, патологического труса, племянника бесстрашного бандита: завидный пример группы Александра Ульянова, когда через неосторожное письмо им удалось быть повешенными.

Кирилл!..

Кирочка!.. Что ты наделал?! Как ты оказался *с ними*? Чем понуждаемый — ты всё это диктовал и диктовал подхватчивому чекисту? Шурка Каган тут не пример — он был посторонний мальчик, да после 7-го класса я его и не видел. Что он там сказал — неизвестно, но даже по Суме он не вымалвливал такого, что ты.

Ведь мы с тобой были — какими друзьями, Кирочка! В то враждебное время я жил в Ростове-на-Дону как на чужбине. И как же дорого было найти мягкую, нежную, отзывчивую твою душу. И моя мама так любила тебя, а твоя — любила меня, насколько я понимал. На моей памяти она всегда лежала в постели, в ужасных отёках. Вы жили со страшной тайной: твой отец, богатый купец, спасаясь от ГПУ, вынужден был бросить вас, пешком перейти персидскую границу. Это сейчас поносная Сума может врать, что то ничем не грозило, не мешало тебе, — но ты-то знаешь (и каждый, кто знает советскую жизнь), что, стиснув зубы, ты это скрывал 40 лет. (И когда на Лубянке меня о тебе допрашивали — то уж эту твою тайну я спрятал глубже всего.)

Действительно, двор ваш на Дмитриевской улице был ужасен, нищенский, с этими навесными железными галереями этажей и железной лестницей, — только откуда эта фантазия, что мы там на ступеньках читали друг другу наши романы и стихи? Да ни разу. Мы читали — в чудесном городском саду неподалёку от вас, а ещё чаще — в благоустроенной квартире Лидочки Ежерец, то было единственное место нашего комфорта, да именно с ней все трое мы горели одною литературой, ничем другим, а твоя мечта о писательстве была и жарче нашей и уверенней. А чем особенным запечатлелась комната твоя (квартиры-то не было, все трое вы с мамой и сестрой в одной комнате) — это спиритическими сеансами, которым ты нас с Кокой и научил и устроил всё. В те два-три вечера почему-то не было твоей мамы, а сестрёнку ты выставлял, объяснял нам, что надо непременно открыть форточку, сидеть молча и сильно верить, а электрический свет не мешает, иначе как бы мы читали показания буквенного круга? Положили лёгкие пальцы на опрокинутое блюдце, Кока был поначалу наиболее недоверчив, чтобы другие не двинули, — но поведение блюдца превзошло фантазию любого из нас: некоторые вызванные иностранцы не могли справиться с русской азбукой (нам в голову не пришло пригото-

вить и латинскую), иные русские выбирали буквы неграмотно (и потом мы догадывались, что они были в жизни неграмотны), Суворов гонял блюдечко с кавалерийской быстротой, Зиновьев — жалко ползал и оправдывался, «мы были с Лениным друзья», а кто-то на вопрос, будет ли война, уверенно ответил нам «1940», а «кто победит?» — и стрелка блюдца три раза подряд уверенно разогналась на «С», а один раз на «Р»: СССР!

Но и не удайся эти сеансы, именно с тобою мы никогда не смеялись над мистикой и именно мне ты поведывал свои жуткие сны, систематический какой-то сон: некто странный и властный раз от разу снился тебе в одинаковой позе: сидя в кресле против тебя (и руки старческие жёлтые всякий раз на одних и тех же — в каждом сне — кресельных ручках, а лицо его было всегда затемнено, ты не видел), он посвящал тебя в поэзию, он говорил тебе всегда о твоём блистательном поэтическом будущем и иногда достаивал открыть строчки из твоих будущих произведений — и ты во сне дрожал от счастья и восторга от их красоты, а когда просыпался — не мог вспомнить, или удерживал, записывал, как это бывает в насмешливых сказках, какой-то отгрызок:

Любовь сильнее яда,  
Ведь в ней все муки ада.

С тобою и с Ёськой Резниковым (как ещё на него ты не напустил Суму?) мы издавали в школе литературный журнал. С тобою и с Лидкой мы катали «роман трёх сумасшедших»: писали по очереди по главе, и не было никакого уговора о судьбе героев, а следующий пусть выпутывается, как хочет. К юности уже много было написано у каждого из нас, тетрадки, тетрадки, — и наконец мы стали посылать свои произведения светилам — а светила чаще не отвечали, а когда Леонид Тимофеев прислал разгром и моих стихов и твоих — для нас это был мрачный удар, ты помнишь? Но тем не менее мы ещё ходили робко к областному поэту Кацу, не напечатает ли он, а из «Молота» Левин поощрял нас очень. А ещё ты завлёл меня в литературный кружок при Доме медработника, какой-то грубый партиец из «Молота» формовал там наши вкусы, — и всё равно нам, кружковцам, казалось, что музы порхают в той крохотной синей комнатке. И та же страсть в конце концов увлекла нас ездить в Москву на заочный курс литературного факультета ИФЛИ. Да там-то, в общезжитии, на партах, мы втроём, с Кокой, и праздновали мою сталинскую стипендию.

Но раньше, раньше! Какая школьная пьеса (Чехов, Ростан, Лавренёв) обошлась без нашего с тобой участия? И ещё даже в дальние драмкружки мы записывались, куда-нибудь в читальню Карла Маркса, ставить катаевскую «Квадратуру круга». И на уроках литературы — какое чтение пьесы обходилось без наших ролей? И в областной драмтеатр и даже в роскошный клуб ВСАСОТР (кажется: Всесоюзная Ассоциация Советских и Торговых Работников) — когда мы пропускали пойти, если билеты были со скидкой? Но ты ещё кроме того — играл на рояле, и много, так и вижу тебя с трубкою нот у музыкальной библиотеки на Николаевском (у тебя были отчасти девичьи ужимки, постоянный носовой платок в одной руке, мы звали тебя «Кирилла», но не в насмешку, а нежно, мы берегли тебя). В мир музыки ввёл меня только ты, и я благодарен тебе навек. Оперы в Ростове бывали редко и дороги, но — бесплатные симфонические концерты каждый летний вечер в городском саду — это ты приохотил меня, и объяснял мне, и сколько же мы там слушали! А в предвечернем ожидании концертов, пока ещё светло, мы с книжками сидели где-нибудь на скамейке, иногда это оказывалось близ тамошнего ресторана — и тогда доносилась ещё музыка дешёвенькая, но почему-то обидно растрavляющая, а главное — запахи недоступной еды, а мы всегда были голодны, и отвлекались нашим чтением, если это не был «Голод» Гамсуна. Да вместе же, с Кокой, мы простояли в очереди ночь и купили велосипеды, это диво тогда! Учились кататься вместе, только в походы ты с нами не ходил. А помнишь, как ты купил «Органику» Чи-

чибабина — и по каждому пункту «затыкал» учительницу? Ну, а уж математику и физику списывал у меня. Да, наконец, на курсы переводчиков с английского языка — кто ж меня увлёт, если опять не ты? А как, уже из разных институтов, мы сходились на латинский кружок Ивана Васильевича Котлярова? — нельзя же нам было и латынь пропустить? Когда, на экзамене в театральное училище, Завадский заподозрил, что с голосом у меня неладно, он задал мне: «Вон, далеко-далеко идёт ваш друг. А ну-ка, позовите его изо всей силы». И я не задумываясь, не выбирая, крикнул: «Кири-илл!!» (И сорвался.)

А когда умерла твоя мама, то после похорон её на другой день, в твой страшный день, чтоб не быть тебе дома, не быть одному (сестра у кого-то), — мы пошли с тобой с утра и до заката в степь, за Темерник. Был чудесный день южного апреля — солнце, но ещё не жаркое, таких дней в весне три-четыре, а потом зной. Трава ещё больше прошлогодняя, бьёт по ногам, но и первая зелёная пробилась, а небо голубое — и жаворонки. И так мы бродили, бродили без дорог весь полный день, говорили обо всём, вполне слитые душами, и чувствовали усопшую — и право же, ты к вечеру намного поживел, вернулся на землю.

Да ты и в политике был умнее, чем я или Кока, ты не захвачен был этой заразой мировой революции, и марксизм если и прилип к тебе — то не крепкою чешуёй и не надолго. О 37-м годе и пытках его — ты один из нас чётко знал, и мне втолковывал, а я плохо воспринимал. Началась война — я зашёл к тебе прощаться на медпункт почтамта, где ты работал. Я горел: как могу не успеть защитить ленинизм, и он рухнет, — а ты говорил мне, молодец: народное недовольство — как туча, а горцы Северного Кавказа рвутся в восстание, — и ведь верно!

И с тем расстались мы на два с половиной года, — а в марте 1944 я пришёл пешком из Одинцова к недоступному замку Барвихи — и вахта приняла меня, а там выбежали вы с Лидкой и повели зачуханного старшего лейтенанта ни много ни мало в тот трёхкомнатный номер, который передо мною занимал мой командующий фронтом маршал Рокоссовский. За обедом, с непривычки, я еле сдерживался, чтобы каждое второе слово не вставлял матерное, как мы привыкли на фронте. А потом с тобой — 24 часа непрерывных разговоров, и взаимного согласия во всём. И уже тупой Усач давно-давно ни для кого из нас не был лицом уважаемым. И кипение общих послевоенных литературных планов. Это тоже был день — из вершин нашей дружбы.

А уж потом мы расстались, потом... Я всё это смею сейчас вспоминать, потому что... ты уже больше — не под *ними*. И на Земле — нам уже больше не повидаться.

Вот эти последние страницы я ведь не сейчас написал, не сейчас, когда дошла до меня мерзкая книжка чекистов, — я написал их пять месяцев назад, в апреле, близ твоего 60-летия. Как раз в те дни я вспоминал о тебе — и как раз в те дни мне принесли письмо, как гром поразившее: ты — умер, Кирочка. Не в переносном смысле, ты умер этой зимой, не дожив до своих шестидесяти (и не дожив до сигнального экземпляра чекистской книги — а ведь ты её, наверно, очень ждал?).

Это — в те дни я всё и написал. Я — поражён был твоей смертью: какая же короткая непрочная наша прогулка здесь! — ты даже за минуту, за единую минуту не знал о смерти и не мог приготовиться к ней. Ничем не болел, ни на что не жаловался — вдруг, дома у себя, в секунду рухнул, как от невидимого удара.

Я — в тоске тогда записывал и записывал, что только вспоминал о тебе, не всё, конечно, сюда вместилося. Я знал, что ты выпустил брошюру против меня, не читал, да что уж такого свирепого могло быть в той брошюре? Разрабатывалось, разрабатывалось внутри, вставляли картины, картины, и я записал: вот, потерял близкого человека, с которым столько связано. И помириться не успели. И как жаль его!

А теперь я вместо тебя держу в руках эту желтоклеймёную зловонную книжку, теперь я понимаю — и что в той непрочтённой брошюре, и я хочу

спросить тебя не за себя, я — прощаю тебя, жгло тебя многое в неудачной, расстроеной, обречённо-безбрачной жизни. Но — за маму мою: она — так тебя любила, зачем же ты посмертно её оболгал?

Да впрочем, может быть, ты уже имел случай ответить ей сам.

И что я сейчас пишу и чувствую — ты тоже это видишь теперь, так что я мог бы и не писать.

Но что ты наделал, Кирилл? Ведь ты не меня облепил этой небылью — но гиблую правду нашей страны, которую враги человечества шесть десятков лет резали, жгли, топтали, топили, — и вот черезсилно мы достаём её со дна — а ты помогаешь заляпывать опять. Помогал. Ради дара русской истории, поднимаемого из потопления, — я и вынужден, тобою и этими рогатыми, изневольнo, изнезужно, длинно восстанавливать каждую клеточку прежде собственной своей жизни.

Да, Кирочка, конечно, твои письма, а тем более девченок, не шли в сравнение с моими и кокиными: мы-то с ним совсем были распоясаны. Нет, мы не писали прямо «Сталин» и «Ленин», но — «Пахан» и «Вовка» в каждом письме. И — совсем не военные проблемы обсуждали мы, это сейчас он так для советского приличия прикашивает, сам же он и подал мне ещё в 1941 эту несчастную для нас мысль: что военная цензура проверяет только военные вопросы, а в общефилософских рассуждениях нам никто не помеха, — мы и пустились, пока дошли до «Резолюции № 1»: груди наши горели страстью политической. Потому и следствию не осталось труда: фотокопии всех писем за годы лежали на гебистских столах, готовенькие, слишком ясные. Наша с Виткевичем судьба была документированно решена ещё до нашего с ним ареста. Виткевич, по Суме, якобы удивляется: «Никому никогда не говорил о „Резолюции № 1“», — так и я ж не говорил, а просто взяли в наших с ним полевых сумках. И очень много игры, что у Коки «срок был тяжелей»: десять лет лагерей, да, отпустили ему по трибунальскому стандарту, но по тому же стандарту не дали пункта «организации», и так не знал он Особлагов, не было ссылки, имел зачёты, освободился ранее девяти лет. А мне «организация» дала после восьми лет вечную ссылку, и, не произошли государственных изменений, я б через одиннадцать лет не освободился, а и по сегодня б там сидел.

Но и твои письма, Кирилл, на следовательском столе выглядели странно; двусмысленно, в той обстановке зывали к объяснению. Если я писал: «После войны поедем в Москву и начнём активную работу», то ты отвечал: «Нет, Морж, мы лучше замкнёмся в тесном кругу и будем выработать внутри». И следователь давил: как это объяснить? Или: какие несдержанные письма ни писал я вам — никто из вас никогда ни словом не возразил, не отклонил, не смягчил, не остановил. Итак, припирало меня следствие вопросами: как это объяснить? Если вот так пишется в письмах, то что происходит при встречах и разговорах?

Я уже писал в «Архипелаге»: я отнюдь не горжусь своим следствием. Я к нему вовсе не был готов, я понятия не имел, что это такое. Это — не 70-е годы, когда молодёжь уже со студенческой скамьи прорабатывает самиздатские правила, как вести себя на следствии, во всеобщем распространении — бронированная этика, прошедшая закалку ГУЛАГа, и даже из тюрьмы бывает связь с волей, а то и с мировой печатью. В 30-е — 40-е годы каждый из попадавших был ошарашенной одиночкой, даже слухом не знавшим ни о каком «процессуальном кодексе», о своих правах, — и каждый по своему разумению торил глухую неизведанную беспомощную тропу. (А ещё лежала на мне тяжесть захваченных «Военных дневников», записанных фронтовых имён — ещё тех моих однополчан прежде всего надо было спасти, оградить.)

После года-двух лагерей, наслушавшись рассказов, я-то понял: самое правильное было — послать следователя на ... . Что захватили — то ваше, а что необъяснимо — то пусть вам леший объясняет. Но по моему тогдашнему жизненному опыту и тогдашнему разумению я рассудил так: сколько я знал и помнил, самое страшное — это соцпроисхождение. Десять и пятнадцать лет советской власти его *одного* было достаточно для уничтожения любого человека

и целых масс. (И по сегодня из ленинских и других томов не изъяты прямые распоряжения подобного рода.) И этого троим из нас надо было бояться более всего: мне — из-за богатого деда, тебе — из-за богатого отца (да ещё живого и за границей, а ну, как это звучало тогда?), Наташе — из-за отца, казачьего офицера, ушедшего с белыми. И если в поисках недостающих объяснений начнётся расследование — то опасность, что они нападут на эти следы. И вот я рассудил — пусть неверно, но совсем не глупо (думаю и сегодня): я поведу их по ложному пути, попытаюсь объяснить правдоподобно. Да, я признаю, что некоторое недовольство у всех у нас было. (На языке МГБ это записывается следователем, ведь протокол ведёт он: «гнусные антисоветские измышления».) «В чём же оно? От чего оно произошло?» — «Оно появилось от введения платы за обучение в ВУЗах в 1940 году и невысокого размера студенческих стипендий». И — всё! И я скрыл все наши огненные политические беседы, свёл их к мещанскому брюзжанию, к животу. Все опасные письма — уже твои, не наши, конечно, с Кокой, — спустил на мещанских тормозах, только чтоб не искали происхождения и домашнего воспитания. Я не оставил следствию ничего существенного, за что б уцепиться. (Какие-то «конспиративные пятёрки как в белогвардейской организации НТС» Чума с незадвинутым следователем Езеповым сочинили только сейчас.)

И что ж? Мне это совсем не плохо удалось, как ни вари, а масло наверху: никого из вас не только не арестовали, но даже *ни разу не допросили!* По нашему делу никто невинный арестован не был, чему не порадуешься в миллионах дел ГУЛАГа. А ведь годы были лютые. (Через три года Решетовская прошла даже процедуру засекречивания.) И когда я потом об этом результате узнал, что была за радость: перехитрил я капитана Езепова! (Теперь — почтенного пенсионера, как сообщает Сума.)

И — тебя не тронули, не коснулись. (Могло ли б это быть, если б что-нибудь из истинных твоих слов — о пытках 37-го, о кавказских горцах — промелькнуло бы на следствии? Не за такое хватали.) Не трогали тебя — 7 лет. А к 1952 ты, Кирилл, влип во что-то совсем другое, в Москве (я этого не знаю, может, когда узнается). В апреле 1952 в экибастузском лагере следователь предъявил мне бумажку от районного (кажется, Щербаковского, но не ручаюсь) отделения ГБ Москвы — о том, что в связи со следствием, начатым против Кирилла Симоняна, поручается допросить меня — что мне известно об его антисоветских настроениях и подтверждаю ли я свои показания 1945 года? И тогда уже, бронированный лагерник, я и послал их на ... Я сказал, что всякие показания 1945 года являются вынужденной ложью, а всю жизнь я тебя знал только как отменного советского патриота.

И вот тут начинается басня о тетрадке из «52 пронумерованных страниц неподражаемо-мелкого почерка» — якобы моего почерка и якобы тебе предъявленных тогда в ГБ. Не знаю, что тут состряпано ими и что добавлено тобою. Но вот чудо: после 52 страниц — очевидно густых, по мелкости почерка, и уничтожающих обвинений, как ты пишешь, — следователь, возмущаясь гнусным оговором, ласково отпускает тебя гулять и дальше, да в каком году! — в последнем сталинском 52-м! (Может быть, и цифра страниц оттуда соскочила?)

Кирочка! Ну конечно ты не мог знать, что в эти месяцы в Экибастузе пылала в зоне земля, что у нас был мятеж, перемещения тысяч, что было никому из нас до писания тетрадок из «52 пронумерованных страниц», что я ещё, кроме того, в эти самые месяцы перенёс операцию раковой опухоли. Допустим, не мог ты догадаться, что в ГБ таких тетрадок и писать не дают, а каждая фраза должна быть вывернута самим следователем. Допустим, ты и предположить не мог, что почерки подделываются. Но знал ты отлично, что сажают по малому клочку, — и не удивился, что тебя по пятидесяти двум страницам не посадили? Да и было ли там 50, они бы сами не стали надрываться больше страничек трёх. А может: только похлопали по стопочке издаля? перед носом помахали? — приём известный.

Но Кирилл! Неужели сердце твоё, душа не подсказали — что такой донос от твоего школьного друга просто невозможен? Высота души — предохраняет, защищает нас и от фальшивых людей, по их глазам, и от таких чекистских подделок, по их грязной хватке, которую наверно там было легко обнаружить, — вот как сейчас вопиёт грязная хватка изо всей этой книги Кумы.

В те дни твоя судьба, видимо, началась на весах, да. И получиши от меня ноль, гебисты (того истинного протокола тебе не показали, конечно?), очевидно, хотели взять тебя блефом — а ты легко глотнул ядовитый крючок, и в грудь свою ввёл его навсегда, до самой даже смерти.

Значит — тебе не хватило высоты души. Это её же не хватило тебе, чтобы устоять против очарования проходимца Сумы.

А когда в 1956 я вернулся после лагеря, после ссылки, после рака, — и от Лиды узнал, что ты на меня в претензии: как это так, утопая, я обрызгал тебя на берегу (я думал — речь идёт о 1945 годе)? — я тоже рассердился: я ведь действительно утопал, и я ведь действительно умирал. В тот момент — моя вина, может быть, всё могло разъясниться при встрече. Но мы не увиделись.

А через полтора года было твоё 40-летие, и растеплилось сердце, и мы с Наташей послали тебе тёплую телеграмму (из Рязани, Кирочка, из Рязани, а не из каких-то подмётных городов, как плетёте вы с Сумой. А кстати: это он или ты пристраиваешь реального москвича Бершадера, завхоза в нашем лагере на Калужской заставе, понимать как нашего ростовского доброго учителя Бершадского?). Ты — не ответил тогда.

А потом годы текли, сердца ещё прорастали — весной, может быть, 68-го ты вдруг написал примирительное письмо — что надо встретиться, помириться. Я ответил сразу с радостью. В короткой переписке уговорились о дне, часе, когда я приеду к тебе на Серебряные Пруды. Приехал. Звоню — а тебя нет, никто не открывает. Ладно. Пошёл сидеть на скамейке перед парадным, чтобы не пропустить. Час прошёл — не идёшь. Поднялся, позвонил — нету. Опять спустился, ещё полчася просидел — нету. Написал записку: подробно, как ехать ко мне в Рождество, в любой день, приезжай. Снова поднялся, позвонил — нет ответа. Тогда отклонил заслонку дверной почтовой щели, бросил письмо там на пол — но ещё не успел отпустить заслонку: как прямо вниз, у двери, увидел ноги твои в пижамных брюках. Ты стоял, затаясь. Я опустил заслонку, не стал окликать. Если тебе так легче... Если тебе...

Так вот. Не объяснились, не помирились, не повспоминали...

Потом — ты изобрёл мои обмороки от самолюбия, потом — брошюра. Потом — беседы, беседы с Сумой и ожидание сигнального экземпляра.

Господи! Да будет земля на могиле твоей — пухом. Твоей прожитой жизни — не позавидуешь\*.

\* Через 12 лет после написанного здесь, зимой 1990 — 91, достигли меня же письма неизвестного мне московского врача-психиатра Д. А. Черняховского. Он писал, что «в соответствии с волей Кирилла Семёновича Симоняна» уже рассказывал некоторым лицам и теперь сообщает мне предсмертный рассказ К. С., которого он знал по совместной работе. Это было осенью 1977.

«К. С. заявил, что хотел бы доверить мне „постыдные факты своей жизни“. „Расценивайте это как исповедь человека, который скоро умрёт, — сказал он, — и хотел бы, чтобы его покаяние в конце концов достигло друга, которого он предал... Передайте ему всё, что сейчас расскажу. С деталями, со слезами, которые видите, с сердечной болью, о которой можете догадаться“. Во время беседы К. С. часто глотал валидол. „После моей смерти не делайте из сказанного тайны. Долго ждать не придётся...“ Об этой дружбе (со мной. — А. С.) говорил с волнением, считал, что она во многом повлияла на его жизнь... утверждал, что имел литературные способности едва ли не большие, чем Солженицын. Впоследствии, ощущая себя носителем нерезализованного литературного таланта, переживал это как явную несправедливость, что и „сыграло пагубную роль“... И ещё другое. С детства у К. С. стали проявляться некоторые психобиологические особенности, связанные с половым выбором. Уже будучи врачом, он пережил в связи с этим неприятности, угрожавшие его карьере. (Вот, наверно, это и было в 1952. — А. С.) Когда к К. С. пришли „вежливые люди“ (это уже, надо понять, — в 1975 — 76. — А. С.), он в первый момент испытал леденящий ужас, но потом с облегчением понял, что хотя они могут мгновенно сломать жизнь, превратив из доктора наук „в никому не нужное дерьмо“, их цель иная: „опять Солженицын“. Они были

Но вперёд, вперёд, наша история! Неправдоподобными признал Сума даже обстоятельства моего ареста (хотя там десять человек стояло). Один раз отваживается применить хронологию, чтоб меня поймать, но поймал сам себя: насчитал моего следствия 9 дней вместо трёх с половиной месяцев — проговораясь, что по-чекистски искренно считает *следствием* только пребывание в застенке, в одиночном боксе, а камера из 4-х человек, откуда ночью дёргают, э-это уже не следствие. Затем сообщает Сума, что я «расположил к себе трибунал» (которого вообще не было, приговор мой по ОСО). Теперь подошла тема: как я вёл себя в лагере? Однако, это целых 8 лет и много разбросанных мест, и с тех пор прошло 30 лет, — как бы Сума повествовал мои тюремные годы, не знает, но к счастью я сам уже в «Архипелаге» и подал им вербовку в лагерные стукачи. Ну что может быть блистательнее! ну как раз к цветку! — вот это и будет сюжет. Отпирается, что не писал доносов? — так для ГБ легко это разоблачить! Работа немалая, но и автор «Архипелага» враг немалый, — свистнуть всем оперуполномоченным и архивариусам лагерей, где Солженицын сидел: просматривать все доносы за те годы, и как только найдутся за подписью Ветрова — так вынимать, соединять — и издать отдельной книгой. (Даже всей книги Сумы тогда не надо.)

Увы, увы, Сума и не лепит, что хоть один нашли. Вот это-то самое трудное и есть — как эти доноски изготовить. И — нет пострадавших, и нет обиженных. Однако доказательства могут быть косвенные, лирические.

Например, в том лагере, где его вербовали, прожил Солженицын несколько месяцев — и вдруг взят в систему шарашек. Ну разве это не доказательство? И чьё бы тут привести наиболее веское суждение? А — Якубовича. Сам он технической специальности не имеет, на шарашках никогда не бывал и косвенно их не касался — вот «он и будет главным свидетелем обвинения» по этому вопросу. Итак, товарищ Якубович, как вы объясняете, что на шарашку, куда берут только специалистов, взяли Солженицына с его университетским образованием? Ведь это невероятно? И Якубович по сценарию отвечает: «В высшей степени неправдоподобно». И Сума: «Солженицын направлен в марфинский институт как секретный информатор, это непреложный факт».

Но это замечательно! Ведь теперь легко проследить за его предательской трёхлетней работой в маленьком Марфине! Уж тут свидетелей и пострадавших десятки, и все образованные люди, и все в Москве живут, да вот, пишет Сума, беседовал с Лёвой Копелевым, — и что ж не спросил у него? Да Марфино — центральная спецтюрьма КГБ, уж архивы наверняка все тут рядышком, на Лубянке, — а ну-ка потроши сюда доноски, а ну-ка вытягивай это советское пособничество на советское честное солнышко!

Увы, и здесь почему-то не наскреблось. Да и новая загадка: Солженицына с шарашки усылают — и в Особый каторжный лагерь. Ну, тут совершенно понятно: очередная награда ему за удачную информацию и новое ответственное задание: запутать щупальцами Особый лагерь.

Но тут понадобятся новые свидетели, откуда ж бы их наскрести? Послать в Экибастуз доктора Симоняна? Нет, расстроятся другие части сюжета. Ба! Да этапировать туда Виткевича! Правда, он как раз остался на шарашке (но об этом Сума молчит, ибо что ж тогда? — тайный информатор?), а в Особлаге никогда не был (и быть не мог, имея лишь статью 58-10), — неважно, этапировать, пусть перенесёт эти неудобства. И теперь — кто же расскажет нам о том, что это был за лагерь? Да именно и только он! (стр. 117, «Стенограмма беседы с Н. Д. Виткевичем, личный архив Ржезача»). Заодно он же охотно и подтвердит ещё раз, что «Архипелаг» — лагерный фольклор.

Однако Солженицын там, кажется, будет лежать в больнице, так что без доктора всё равно не обойтись. Где ж бы нам найти доктора, если Симоняна всё равно неудобно? Да выход один всегда: листать книги Солженицына. В «Архипелаге» упомянут доктор Николай Иванович Зубов, отлично! Вот мы его в Экибастуз и посадим. Но он никогда в жизни там не сидел! Неважно, ему 83 года, он совершенно глухой и в месте живёт глухом — опровергнуть не доберётся.

---

осведомлены, говорили какие-то правдоподобные вещи. Неожиданно для себя К. С. почувствовал какой-то подъём и благодарность, — „да, благодарность за подаренную жизнь врача“. Странички „фальшивого доноса Ветрова“ были с готовностью восприняты как подлинные, хотя даже тогда „резанули две-три детали, чуждые Солженицыну“. Написал „какую-то пакость для распространения за рубежом“. Писал в каком-то странном подъёме, „в дурмане“... Рассказал, как в больницу приезжал Ржезач — „мразь, кагебешник, говно. Играл с ним в постыдные игры“, — именно так выразился К. С. Потом „дурман рассеялся, спохватился и хоть в петлю“. Мы долго говорили с К. С. Его покаяние было искренним и глубоким... К. С. сказал, что Вы не могли не знать о его „ахиллесовой пяте“: „Если б он захотел, то мог бы так приложить по больному месту, что второй [бы] раз не понадобилось. Он этого не сделал“... Я как врач-психиатр должен заметить, что во время беседы он был утнетён, но это не была та депрессия, во время которой возможен самоговор... 18 ноября 1977 К. С. скоропостижно скончался». (Примеч. 1993.)

Листаем Солженицына дальше. Кавторанг Бурковский. Очень советский человек, допросим его. (Ценнейшее показание: когда в 1954 в Особом лагере ввели самоуправление, то Солженицын — уехавший в ссылку в феврале 1953, — «на одном из собраний повёл себя как типичный провокатор», стр. 124.) Ещё листаем. Солженицын описывает, как в темноте вели его в БУР на обыск и он выбросил записанный стих, а потом в тревоге искал его. Выбросил, чтоб не попало к вертухаям, и искал? Ну ясно, что — донос!

Так железное кольцо вокруг Солженицына смыкается. Теперь бы ещё изобрести старого лагерного волка, но честного советского направления, пусть его фамилия будет Доронин (молодой человек из «Круга»). Такого Доронина среди знакомых Солженицына сроду не было, так и показания дадим ему самые общие: Солженицын восхваляет американский образ жизни, Солженицын читает все советские центральные газеты (и как его не вырвет?). Да нет, ещё лучше: пусть Солженицын никакой не каменщик, а пусть он экибастузский лагерный библиотекарь. Он живёт в каторжном лагере «почти как на свободе». И даже в столовую с Иваном Денисовичем никогда не ходит, а в какую-то совсем другую и на особые деньги от начальника лагеря, а начальник лагеря (ОЛП, 5 тысяч человек) — старший лейтенант Рябов (стр. 116). Нужды нет, что старший лейтенант таким лагерем заведовать не мог, а был майор Максименко. (О таких подробностях и Кума не обязан знать, потому что ведомство МВД — не его, а параллельное.)

Наконец, я не выдерживаю: можно дать маху один раз, пять раз, десять раз — но чтобы непрерывно пересаживаться задним местом из лужи в лужу, — министр госбезопасности! за что вы платите зарплаты этому идиотскому отделу?! Потом, слушайте, коллектив, известный же рецепт: чтобы вам верили, надо же иногда для правдоподобия добавлять и кусочки правды. Что же вы, как ошалелые, лепите всё чучело из одной бреховины?\*

А, вот что ещё приволок Сума: «Самый существенный факт, который подтверждают все, кто знал Солженицына в заключении» (Симонян? Виткевич? Каган? Якубович? Зубов? увы, никто из них — да и не был там никто, ни даже мифический Доронин), «не заметил его только Д. М. Панин: за день до лагерного бунта Солженицын исчез — его неожиданно перевели в тюремный госпиталь».

Ах, проклятая хронология, ведь опять без неё, всё это протекает когда-то вообще, а дни вот какие: стрельба охраны по безоружному лагерю и избитие беззащитных — 22 января 1952 года (по старому стилю — 9 января, «красное воскресенье»). 23 января — частичное начало забастовки, тех барачков, где есть убитые. 24-25-26 января — три дня голодовки-забастовки всего лагпункта. 27-го — мнится победа, администрация заявляет, что требования будут выполнены. 28-го — опрос требований и собрание бригадиров, где я выступаю. 29-го я ухожу в больницу на операцию раковой опухоли, которую мне и делают 12 февраля. Д. Панин потому и «не заметил» моего исчезновения перед мятежом, что всю голодовку мы провели с ним в одном бараке, где ещё 26-го он отважно призывал заключённых не сдаваться.

И тут Сума из двух блистательных объяснений выбирает не лучшее: да может быть, ни в какую ни больницу? да может, никакого рака не было? «Ведь могли его „упрятать“ как стукача и в карцер, вместе с другими!»

Сума, Сума! Ау! Ату! В духе теории профессора Симоняна и в художественной целостности этого виртуозного интригана, спирального изменника Солженицына: рак — это был «приобретенный рефлекс, который Солженицын научился вызывать без малейших усилий». Ату его! Какая возможность пропущена!..

Ну, впрочем, и вечная ссылка, оборванная XX съездом, пропущена тоже, она Суме не подходит. Но ошибётся, кто подумает, что с окончанием тюрьмы окончились неугомонные интриги этого многоликого двурушника Солженицына. Нет, они только начались! И развивалось дело так: из лагеря он вывез «горы исписанных бумаг» (стр. 120). Сума не ссылается на свидетелей, но ведь каждый ребёнок знает, что из любого советского концлагеря вывози своих рукописей сколько хочешь. А дальше? «Сразу же по выходе стал затевать хитроумные политические и иные интриги и козни, активно готовиться к антисоветским выступлениям». То есть так понять, что для этого, после ссылки, он ринулся в самые кипучие московские круги? О нет, гораздо хитрей: «Александр Исаевич поселился не в крупном городе, а в захудалом уголке Владимирской области... Как? И он согласен жить вдали от издательств и редакций?.. Неужели он не хочет видеть огни больших городов, людей, улицы, магазины, трамвай?» (тут очень искренно звучит

\* Но зря я тут риторически воззвал к министру госбезопасности: Андропов как раз был очень доволен книгой Ржезача и тотчас по выходе её выразил желание наградить ещё и сотрудников чешского МВД, помогавших автору, само собой и советских гебистов [24]. (Примеч. 1995.)

у Сумы, ему действительно трудно представить). Но даже на этом загадки лишь начинаются. Сатанински хитрый Солженицын теперь изобретает видимость «подпольного писательства», совершенно ненужного и фальшивого. Ведь «почти всё, что Солженицын тогда написал, было опубликовано» (стр. 139; правда, гораздо позже, и на Западе). Ну, какую опасность для Солженицына могли представлять изложенные тогда из памяти на бумагу или написанные вновь: «Пир победителей», лагерные поэмы и стихи, «Прусские ночи», «Пленники», сценарий о лагерном восстании и «Круг первый» в его истинном варианте (похищение атомной бомбы)? «Солженицынская версия о мотивах его подпольной литературной деятельности просто непонятна».

Ба! была бы непонятна вся эта конспирация — если бы не пронизательный Сума! «Солженицын всю жизнь боялся, что придёт Некто и расскажет, как всё было в действительности». И вот — пришёл Некто из Чехии и теперь всё начисто объясняет: да не от Госбезопасности Солженицын прятался, кто ж от неё в СССР прятается, зачем бы? А вы забыли, что Солженицын погубил мятеж бандеровцев (да мятеж-то был как раз не бандеровцев, а на «российском» лагунке)? так вот от них он и прячется все годы, а делает вид, что прячется от КГБ. Да тут может Кума оценить: «Его меры конспирации бесполезны против профессиональной государственной организации». Уж это той-то организации возможности наш Чума знает превосходно.

Но — и ещё гораздо, гораздо хитрей: Солженицын так хотел устроить, чтобы КГБ же и стерегло его от бандеровцев! Так тогда, старому доносчику, — пойти и прямо просить защиты у КГБ? Э-э, нет, это было бы слишком прямолинейно. Нет, гораздо хитрей! «При плотно зашторенных окнах и замкнутых дверях он строчил пасквили. С его стороны это был вызов: он хотел таким образом привлечь внимание сотрудников КГБ: „Вот он я, опасный антисоветчик, стерегите меня!“ Но КГБ не реагировал. Надзор, о котором мечтал Солженицын, был равен нулю» (стр. 143).

Ах, что делает ненависть и досада от упущенного! Совсем закружился коллектив КГБ, и змея уже кусает свой собственный хвост и даже от досады перебирает зубами ещё дальше по хвосту: КГБ-то вёл себя благородно, надзор был равен нулю. И ещё можно было бы простить Солженицыну все его мерзости до сих пор. Но он, негодяй, стал выбрасывать чекистам приманки на крючках, чтоб это благородное учреждение клюнуло.

Начал с того, что чемодан с частью своих пасквилей забросил к некоему Теушу. «Этот Теуш был одиозной фигурой. Говорили [? — в КГБ?], что он — теософ, связанный с сионистами». Поэтому и за ним надзор КГБ был равен нулю. Но «в один прекрасный день в аэропорту при обычном таможенном досмотре был задержан иностранец, который вёз на Запад сочинения математика Теуша». СССР — ведь это не концентрационный лагерь! из него нельзя так свободно вывозить рукописи, как из лагеря. (Но — и опять всё ложь: ни иностранец не назван, ни дата, ни рукопись. А просто: через стенку Теуша в квартире на Мытной улице давно было просверлено подслушивание и просматривание.) И вот только из-за этой математической рукописи «сотрудники КГБ получили ордер на обыск в квартире Теуша. Однако никто там не искал сочинений Солженицына. Уже уходя, офицер КГБ вдруг заметил в прихожей [в единственной жилой комнате] маленький чемоданчик» (метр на 75 см, а весом с пуд). Вот это-то и был отравленный крючок, который доверчивое КГБ проглотило — и стало жертвой всех последующих литературных скандалов. Да даже сегодня, уже через столькие годы, в гебистском отделе стучат по груди, и обидно подумать: ну хорошо, ну отобрали у тебя чемодан рукописей, ну походи по-хорошему попроси, извинись — хочешь в КГБ, хочешь в прокуратуру, да хоть просто в партийные органы. Что за нужда была прятать какой-то «Пир победителей» — «чудовищный по своему содержанию, с грубой клеветой на социалистический строй, с издёвками над подвигами победителей» (стр. 153)? «Он знал, что с ним ничего не случится» (стр. 152). «Всё именно так и было задумано Солженицыным: чтобы органы КГБ нашли рукописи, а он, не подвергшись наказанию, получил бы повод устроить скандал». Конечно, «пришлось познакомить советского читателя с содержанием этой пьесы». (Если по книжным магазинам говорить, то незаметно. А было — закрытое заседание при ЦК, и с партийных трибун говорили: за такую пьесу — расстрелять.) Итак: это ничем ему не грозило, но он понял, что провалился. И тогда он затеял письмо съезду писателей (которое имело такие нехорошие последствия на родине Сумы, да сам же Сума на чехословацком съезде в этот кипяток и попал).

Переведу на мгновение дух. В «Телёнке» я описывал, как в своём подпольи, под мозжащим растопом КГБ, я спасал рукописи, маневрировал, искал новых убежищ, где хранить, где дописывать неоконченное. И когда те вихри прожигали мне голову, мог ли я думать, что через 13 лет придётся почитать отчёт самого Голиафа КГБ — что они думали с другой стороны, как растравно они подосадают, что не раздавили меня, когда это был бы беззвучный хруст: кто там заметил в 1965 году конфискацию моего архива? долго ли помнил бы Запад исчезновение автора «политической прохрущёвской» повести?

В истерической раздёрзанности (нарочито, для скрыва и подделки), пируэтами ассоциаций, то возвращаясь, то забегая, то повторяя, легко смешивая разные годы, перевирая любые приметы и обстоятельства, накидывает Сума обо мне ещё много всякой дребедени, повсюду прыская пакостью.

Да ещё ж история с Нобелевской премией. Известно, как её обычно получают (если не ворует чужих романов): громко протестовать! и протестовать! и протестовать! (Как видит мир по всем примерам, в Советском Союзе это особенно безопасно.) «Протестовать, ничем не рискуя. Исключён из Союза писателей? — не беда!.. В Советском Союзе он — как у Христа за пазухой» (так и написано, стр. 155). Просто — разгульная безопасность.

И разумеется — получает Нобелевскую.

Ну, чёрт с тобой, получил — так уезжай, по крайней мере! Так нет, «Солженицын вновь прибег *хотя и не к наказуемому* [!!!], *но одному из самых грязных трюков своей жизни*: он вообще не подал никакого заявления относительно оформления паспорта и визы» (стр. 156, буквально, только курсив мой. — А. С.). Вот этим трюком я более всего и ранил измученное сердце КГБ.

Но и на этом не остановился наглец: теперь он решил публиковать «Архипелаг». «И незачем кивать на цензуру, бюрократов, на ограничения» — книгу «Архипелаг» ему удалось издать. Но каким опять подлейшим трюком! Уж ЧК ли, ГПУ, КГБ не знает трюков? Уж кто тогда и знает! Но Солженицын опять умудрился подкинуть заманчивый крючок: чтоб КГБ же и двинуло «Архипелаг» в печать! И как же этот крючок закинут? А очевидно, что КГБ *получило анонимный донос на хранение «Архипелага» — от самого Солженицына!!*

Среди читателей могут оказаться детективно-тупоумные и начнут задавать наивные вопросы:

— что ж за странный путь печатать «Архипелаг», отдав его в КГБ?

— а если отдавать, то не проще ли самому, своими ногами и отнести его?

— и с какой же целью Солженицын, уже и так удушенный КГБ, ещё отдаёт против себя «Архипелаг»?

Да он же знал, что советское правительство, по своему бесконечному добролюбию, за такую лёгкую книжицу не станет его ни в тюрьму сажать, ни убивать. (Сегодня в СССР сажают тех, кто её только читает.) Сума даже приводит мой прогноз из «Телёнка»\*, подсудно перевирая его в нескольких местах. Например, у меня написано: «Убийство — Пока закрыто». Он подделывает: «убийство? — исключено». (Коммунисты не убивают!)

Что могли — всё сделали. Всесоюзным приказом сожгли «Ивана Денисовича» с «Матрёной». И одежду мою, отплёвываясь, сожгли в лефортовской печи. И вырыгнули уже которую книжёнку мне в анафему.

Но как в пещеру к Воронянской неотвратно вкрасились они душить — так и в их охоронённые палаты, хоромы, райкомы — вступил мертвяк «Архипелаг», без рукавиц, в обуви ЧТЗ.

И — заметались.

Как говорится, от тюрьмы да от Сумы не отказывайся.

Поплатись за правду, поплатись и за неправду.

Хорошо, что я успеваю сам ответить. А сколько жертвы ЧКГБ безнадежно обогланы при жизни и после смерти, и уже никогда не могли очиститься — и сможет ли кто за них?

О потомки, будьте осторожны в суде над теми, кто жил на Руси в эти страшные советские 60 лет.

Осень 1978

\* «Бодался телёнок с дубом», стр. 348.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

[18]

СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЕ НЕЧЕМ  
ОТВЕТИТЬ НА «АРХИПЕЛАГ»\*Стэнфорд, Калифорния  
18 мая 1976

За 14 лет моих публикаций весь бездарный пропагандный аппарат СССР и все его наёмные историки не смогли ответить мне никакими аргументами или фактами: потому что ни мыслей, ни фактов у них нет, всегда одна ложь. Теперь КГБ по своей жульнической ухватке приготовил фальшивку, помеченную 1952 годом, — будто я тогда доносил чекистам о революционном лагерном движении. Эту фальшивку начали подбрасывать иностранным корреспондентам, один из них переслал мне такую ксерокопию.

Хотя КГБ уже был однажды пойман на подделке моего почерка — никогда не бывшей моей переписки с эмигрантом В. Ореховым (журнал «Тайм» в мае 1974 привёл по строчке сравнения моего истинного почерка и успешно подделанного, а у меня на руках — полные письма, подделанные КГБ, по несколько страниц), они снова, не боясь позора, пошли по тому же пути. Для этого при содействии моей бывшей жены использовали комплект моих писем к ней лагерного периода (этими письмами КГБ уже тайно торговал на Западе, копии в моих руках) и, насколько могли, старательно подделали мой почерк того времени. Но, оставаясь на своём уровне, спущенном от людей к обезьянам, они не смогли подделать образа выражений и самого меня. Это различит всякий человек, кто читал «Ивана Денисовича» или «Круг», или положит «Архипелаг» рядом с их жалкой клеветой. Сочинители фальшивки допустили просчёты и в лагерных реалиях. Третий том «Архипелага» передаёт огненный дух тех дней экибастузского мятежа, к которым осмелилось теперь приурочить свою подделку КГБ. Будет время — обретут свободный голос и мои солагерники того времени, украинцы, — высмеют они эту затею и расскажут о нашей истинной дружбе. Ложь КГБ так и составлена, чтобы внести раздор в единомыслие Восточной Европы: объединения наших сил больше всего и боятся коммунисты.

За 60 лет коммунистическая власть в нашей стране пристрастилась лпать всех, кого травила: что они — агенты охраны или сигуранцы, или гестапо, или польской, французской, английской, японской, американской разведки. Этим дурацким колпаком покрывали решительно всех. Но ещё никогда власти нашей страны не проявляли такой смехотворной слабости, отсутствия опоры, чтоб обвинить своего врага в сотрудничестве... с ними самими! с советским строем и кровоорожденной его ЧК—ГБ! При всей советской военной и полицейской мощи — какое откровенное проявление умственной растерянности.

А. Солженицын.

[19]

## ПАРЛАМЕНТСКОМУ КОМИТЕТУ ИЗРАИЛЬСКОГО КНЕССЕТА

Парламентскому Комитету Израильского Кнессета  
Члену Кнессета Геуле Коген

18 июня 1976

Многоуважаемые господа!

С признательностью благодарю Вас за приглашение.

Тот взгляд, что построение общественных отношений высокой ценности невозможно без религиозной основы, объединяет всё большие группы людей в на-

\* Опубликовано в «Лос-Анджелес таймс» 24.5.1976.

шем угрожаемом мире и сближает идеалы разных наций перед великими общими испытаниями, всё более надвигнутыми на нас. В этих испытаниях во многом виноваты ложные философии, ведшие человечество последние триста — четыреста лет. Но горькие плоды их, увы, неизбежны теперь для всех нас. И в той мере, в какой выход ещё зависит от самих людей, он лежит в критическом пересмотре своего прошлого и в добровольных взаимно-дружественных движениях будущего.

Так я понял смысл Вашего приглашения, и, может быть, осуществление его могло бы быть как-то полезным в названном направлении.

Однако Ваше приглашение застаёт меня далеко на другой стороне Земли и в архивных поисках о несчастных революциях в моей стране, о которых современники не успели дать полных объяснений. Я вижу свой давний и уже во времени упускаемый долг в том, чтобы эти объяснения искать, — и потому, к сожалению, в обозримый срок никак не могу оторваться от этой работы.

С уважением

*А. Солженицын.*

[20]

### СЛОВО НА ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ ЖИТЕЛЕЙ КАВЕНДИША

28 февраля 1977

Граждане Кавендиша! Дорогие соседи! Я пришёл сюда для того, чтобы поздороваться с вами и поприветствовать вас. Мне скоро уже 60 лет, но за всю жизнь у меня никогда не было не только своего дома, но даже и определённого постоянного места, где бы я жил. Не зная советских условий, вы даже представить себе не можете... Я не имел возможности жить там, где было нужно для моей работы, а иногда мне не давали жить и с моей семьёй. В конце концов советские власти уже не терпели меня совсем и выслали из страны.

Но определил Бог каждому человеку жить в той стране и среди того народа, где он родился. Как взрослое дерево при пересадке болеет, а иногда и умирает на новом месте, не приживаясь, так и человек не всегда может перенести изгнание и форменно болеет от него. Я хочу надеяться, что никому из вас не придётся испытать этого горького жребия — жить в чужой стране поневоле. На чужбине всё кажется не таким, не своим: человек испытывает постоянную тоску в тех обстоятельствах, когда другие живут нормально; и тебя все рассматривают как чужака.

Но вот получилось, что первый свой дом и своё первое постоянное жительство мне удалось избрать лишь тут у вас, в Кавендише, в Вермонте. Я очень не люблю больших городов с их суетой и с их образом жизни. Мне нравится уклад жизни здесь, ваш простой уклад, похожий на жизнь наших русских крестьян, только, конечно, они живут гораздо беднее, чем вы. Мне нравится ваша местность и очень нравится ваш климат с долгой снежной зимой, такой же, как в России.

Мне нравится Вермонт, но я хотел бы, чтобы моё пребывание здесь не оказалось неприятным для вас. Я прочёл в газетах, что некоторые из вас не довольны или даже оскорблены, что я обвёл свой участок забором. Я хотел бы объяснить это сейчас. Жизнь моя состоит из работы, и работа эта требует, чтобы её не прерывали, иначе сильно портится результат. Я приехал к вам из Швейцарии, где жил сперва после высылки из Советского Союза. Там я жил в таком месте, которое было легко доступно для любого приезда. И вот ко мне непрерывно ехали сотни людей, совершенно мне не известные, разных национальностей, из разных стран. Никогда не спрашивая моего согласия или приглашения, но сами решив, что им желательно со мной повидаться и поговорить. Не говоря уж о том, что меня часто навещают корреспонденты, также никогда не приглашённые. Они полагают, что моя жизнь есть достояние общее, а они имеют право и обязанность сообщать в печати всякую мелочь моей жизни или добиваться от меня новых и новых фотографий. Но сверх того ещё меня посещают иногда советские агенты, то есть по-

сланные враждебными советскими властями люди с враждебными намерениями. Такие были уже у меня и здесь в Кавендише, они уже присылали письма по почте или даже подкладывали записки под ворота с угрозами убить меня и мою семью. Я, конечно, понимаю, что мой забор не от советских агентов (от них таким забором не защитишься), но от корреспондентов и от людей досужих, бездельных — от них этот забор даёт мне необходимую защиту и покой для работы. Некоторые из визитёров косвенным образом уже мешали и моим соседям, и вы можете судить о том, каково встречаться со всеми желающими. Я хотел бы принести извинения тем из моих соседей, кому эти непрошеные посетители уже досаждали и мешали. Ещё более хотел бы я просить извинения у сноумобилистов и у охотников, которым поневоле мой забор оказался преградой на их привычных путях. Я надеюсь, что теперь вы поймёте меня: это необходимое условие моей работы, а значит и жизни. Я не мог сделать иначе.

Пользуясь сегодняшней нашей встречей, я хотел бы сказать и ещё два слова: просить вас никогда не поддаваться неправильно истолкованию, этой путанице слов «русский» и «советский». Вам сообщают, что в Прагу вошли русские танки и что русские ракеты с угрозой наставлены на Соединённые Штаты. На самом деле, это советские танки вошли в Прагу и советские ракеты угрожают Соединённым Штатам. Слова «русский» и «советский» сопоставлены так, как сопоставлены человек и его болезнь. Мы человека, больного раком, не называем «рак», и человека, больного чумой, не называем «чума», — мы понимаем, что болезнь — не вина, что это тяжёлое испытание для них. Коммунистическая система есть болезнь, зараза, которая уже много лет распространяется по земле... Мой народ, русский, страдает этим уже 60 лет и мечтает излечиться. И наступит когда-нибудь день — излечится он от этой болезни. И в тот день я поблагодарю вас за ваше дружеское соседство, за ваше дружелюбие — и поеду к себе на родину!

[21]

### ПИСЬМО ЭДВАРДУ БЕННЕТТУ ВИЛЬЯМСУ\*

Кавендиш, 26 февраля 1977

Дорогой доктор Вильямс!

Обращаюсь к Вам с просьбой принять к защите дело Александра Ильича Гинзбурга, 1936 г. р., СССР.

Александр Гинзбург с 1974 года является главным распорядителем Русского Общественного Фонда, основанного мною и утверждённого швейцарскими властями. Он осуществлял помощь многим сотням заключённых в лагерях и тюрьмах и их измученным семьям. В условиях постоянного противодействия властей эта работа была очень трудна и требовала от Александра Гинзбурга высших человеческих качеств.

В 1976 году он участвовал также в работе группы «Хельсинки».

В 1977 году Гинзбурга арестовали.

Поскольку советские власти не могут судить его прямо за дело милосердия, они несомненно прибегнут к обвинениям ложным. Это предположение вытекает не только из моего знания советской следственно-судебной системы, но главным образом — из действий властей. На обыске в январе 1977 года офицеры КГБ подложили валюту в квартиру Гинзбурга. Я ответственно заявляю, что он не имел никаких дел с валютой. В советской прессе появились обвинения Гинзбурга в уголовных преступлениях, носящие абсолютно вздорный характер, — однако советская практика учит, что обвинения с газетных полос всегда перекочёвывают в судебный зал.

Я думаю, что, несмотря на Ваш огромный опыт и мировую известность, — Вы приобретёте ещё новые познания, проследив дело Гинзбурга.

\* Опубликовано в «Вашингтон пост», 1.3.1977.

Если Вы любезно согласитесь принять это дело, я обязуюсь информировать Вас немедленно и подробно о каждом факте, относящемся к положению Александра Гинзбурга.

С уважением

*А. Солженицын.*

[22]

### ПИСЬМО В «НОЙЕ ЦЮРХЕР ЦАЙТУНГ»

4 августа 1977

Разрешите через Вашу уважаемую газету обратиться к швейцарской общественности со следующим заявлением:

Я обратил внимание на статью, опубликованную в цюрихской газете «Блик». Видимым поводом для этой статьи было появление немецкого перевода моей книги «Ленин в Цюрихе» — но статья совершенно произвольно, неосновательно и безответственно выдаёт мнения и суждения, высказанные Лениным о Швейцарии, за авторские.

В книге эти суждения ясно и однозначно приведены как *его* мысли, они взяты из его произведений и процитированы дословно. Это — суждения человека, который хотел взорвать и перевернуть Швейцарию. Я указал в книге использованные мною источники, так что требовалось лишь немного серьёзного интереса и внимания, чтобы проверить и установить, что употреблены цитаты.

Что же касается моего собственного восприятия Швейцарии, то было бы естественнее искать их в описании главной швейцарской фигуры в книге, Фрица Платтена.

*Александр Солженицын.*

[23]

### ЗАПИСКА ПРАВЛЕНИЯ АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ НОВОСТИ ОБ ИЗДАНИИ РУКОПИСИ Н. РЕШЕТОВСКОЙ «В СПОРЕ СО ВРЕМЕНЕМ»

17 апреля 1974 г.

Секретно

ЦК КПСС

Агентство печати Новости вносит предложение об издании через зарубежные издательства на коммерческой основе рукописи Н. Решетовской «В споре со временем» (объем — до 15 печатных листов).

Написанная в форме воспоминаний, книга бывшей жены Солженицына содержит письма, дневники, заявления бывших друзей и другие документы, свидетельствующие о том, что в «Архипелаге Гулаг» использованы лагерные легенды и домыслы. Кроме того, приводится ряд фактов неблагоприятного, аморального поведения Солженицына. В рукописи Н. Решетовской можно проследить эволюцию взглядов Солженицына от троцкизма до монархизма.

В 1973 — 1974 годах через АПН были переданы интервью Н. Решетовской. Они были опубликованы в газетах «Нью-Йорк таймс» (США), «Фигаро» (Франция) и других органах. В своих интервью Решетовская заявила о намерении опубликовать свои воспоминания для разоблачения различных версий буржуазной печати по биографии Солженицына и его отношений к Н. Решетовской.

Крупные буржуазные издательства «Нью-Йорк таймс», «Пресс де ля Сиде» (Франция), «Аллен Даво» (Швейцария) обратились в АПН с просьбой предоставить им права на издание воспоминаний Н. Решетовской.

Рукопись воспоминаний Н. Решетовской подготовлена к печати издательством АПН совместно с КГБ при СМ СССР.

Представляется, что выход на Западе воспоминаний Н. Решетовской может послужить определенной контрмерой, направленной против антисоветской шумихи вокруг Солженицына.

Просим согласия.

Приложение: Упомянутое на 288 листах (несекретно).

Председатель Правления  
Агентства печати Новости

*И. Удальцов.*

*Резолюция: Согласиться. М. Суслов.*

*ЦХСД. Ф. 4. Оп. 22. Д. 1774. Л. 1. Подлинник.*

[24]

Секретно  
Экз. № 2

5 июля 1977 года  
№ 1432-Ц ЦК КПСС

*Об издании на русском языке книги о СОЛЖЕНИЦЫНЕ*

17 января 1977 года Комитет госбезопасности докладывал (№ 87-Ц) о мероприятиях по изданию за рубежом книги чехословацкого журналиста Т. РЖЕЗАЧА под названием «Спираль измены», в которой содержатся материалы, дискредитирующие личность и пасквили СОЛЖЕНИЦЫНА.

В июне с. г. сокращенный вариант указанной книги опубликован на итальянском языке в Милане издательством «Тети и К». Некоторые сокращения в книге произведены с целью адаптации материала для зарубежного читателя. Предприняты меры к продвижению книги в издательствах других стран.

Комитет государственной безопасности считает целесообразным для дальнейшей дискредитации СОЛЖЕНИЦЫНА перед советской общественностью издать полный вариант книги Т. РЖЕЗАЧА на русском языке через возможности Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли для ограниченного пользования. С Госкомиздатом (т. ЧХИКВИШВИЛИ И. И.) согласовано.

Проект постановления ЦК КПСС прилагается. Просим рассмотреть.

Председатель Комитета Госбезопасности

*Андропов.*

Секретно  
Экз. № 2

Министру внутренних дел Чехословацкой  
Социалистической Республики  
товарищу Яромиру Обзине, г. Прага

10 августа 1978 года

Уважаемый товарищ Обзина!

В СССР на русском языке вышла книга чехословацкого журналиста Томаша Ржезача под названием «Спираль измены Солженицына», сокращенный вариант которой ранее был опубликован в Италии издательством «Тети».

Книга написана с использованием большого фактического материала, имеет остропублицистический характер, с позиций пролетарского интернационализма вскрывает классовые корни ненависти Солженицына к социализму, разоблачает активное использование реакционными кругами Запада подобных отщепенцев в идеологической диверсии против стран социалистического содружества.

Выход в свет данного издания явился результатом добросовестного труда автора и настойчивой совместной работы с ним сотрудников 10 Управления МВД ЧССР и 5 Управления КГБ СССР.

Выражая глубокое удовлетворение по поводу успешного завершения этого мероприятия, Комитет государственной безопасности СССР считал бы целесообразным, если с Вашей стороны не будет возражений, наградить Начальника 10 Управления МВД ЧССР генерал-майора В. Старека и одного сотрудника чехословацкой разведки знаками «Почетный сотрудник госбезопасности — и ценными подарками — пятерых оперработников Министерства внутренних дел ЧССР, принимавших наиболее активное участие в проведении указанного мероприятия.

В случае Вашего согласия с нашим предложением просим сообщить фамилии сотрудников органов госбезопасности ЧССР.

С коммунистическим приветом и наилучшими пожеланиями

Председатель Комитета Госбезопасности СССР

*Андропов.*

